ОЛЬГА

БРЕЙНИНГЕР

В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ НЕ БЫЛО АДДЕРОЛА

РОМАН ПОКОЛЕНИЯ

18+

Роман поколения

Ольга Брейнингер

В Советском Союзе не было аддерола (сборник)

«АСТ»

2017

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Брейнингер О.

В Советском Союзе не было аддерола (сборник) /
О. Брейнингер — «АСТ», 2017 — (Роман поколения)

ISBN 978-5-17-104487-9

Ольга Брейнингер родилась в Казахстане в 1987 году. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького и магистратуру Оксфордского университета. Живет в Бостоне (США), пишет докторскую диссертацию и преподает в Гарвардском университете. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новое Литературное обозрение». Дебютный роман «В Советском Союзе не было аддерола» вызвал горячие споры и попал в лонг-листы премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».Героиня романа – молодая женщина родом из СССР, докторант Гарварда, – участвует в «эксперименте века» по программированию личности. Идеальный кандидат для эксперимента, этническая немка, вырванная в 1990-е годы из родного Казахстана, – она вихрем пронеслась через Европу, Америку и Чечню в поисках дома, добилась карьерного успеха, но в этом водовороте потеряла свою идентичность.Завтра она будет представлена миру как «сверхчеловек», а сегодня вспоминает свое прошлое и думает о таких же, как она, – бесконечно одиноких молодых людях, для которых нет границ возможного и которым нечего терять.В книгу также вошел цикл рассказов «Жизнь на взлет».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-104487-9

© Брейнингер О., 2017
© АСТ, 2017

Содержание

В Советском Союзе не было аддерола 7
Часть 1 7
Глава первая, в которой я приезжаю в Чикаго на ежегодную конференцию Международной ассоциации славистов и по дороге рассказываю о том, как стала объектом «эксперимента века» 7
Глава вторая, в которой я вспоминаю, как праздновали свадьбы у нас в Берлине, и рассказываю о клубной юности молодой вертихвостки – что может привести в ужас любого, кто не вырос в пост-СССР 13
Глава третья, в которой я долго разговариваю с кем-то незнакомым, рассказывая то, о чем говорить вовсе не следует 25
Часть 2 32
Глава четвертая, в которой я вспоминаю, как живется русским эмигрантам в Германии, и объясняю, как в молодых людях зарождается моя ненависть 32
Конец ознакомительного фрагмента. 36

Ольга Брейнингер
В Советском Союзе не было аддерола (сборник)

© Брейнингер О.А.
© ООО «Издательство АСТ»

В Советском Союзе не было аддерола

Часть 1
Советский Союз, которого уже никогда не будет, и города́, о которых все забыли

Глава первая, в которой я приезжаю в Чикаго на ежегодную конференцию Международной ассоциации славистов и по дороге рассказываю о том, как стала объектом «эксперимента века»

Первую главу «Гламорамы» Эллиса никому не повторить. Пять, целых пять страниц о том, как разъяренный Виктор отчитывает всех за крапинки на стене, крапинки, которых никто, кроме него, не видит, и поминутно называет всех «детка», и от раздражения из-за самой ситуации и этого слова теряешь перспективу и ненавидишь и Виктора, и Эллиса, и саму книгу так, что когда доходит до настоящего – терроризма, иллюзий, взрывающихся тел, предупреждений, гротескной картины того, чем мы все стали, – обезоруженный, отбрасываешь книгу и признаешь полное (дьявол!) поражение. Виктор Вард и его чертовы крапинки обвели тебя вокруг пальца, словно вчерашнего читателя азбуки.

А у Вирджинии Вульф, эти цветы миссис Дэллоуэй? До чего замечательно – эта Кларисса, это «я куплю цветы сама», будто не хватает воздуха прочитать, будто Лондон вспыхивает и белеет перед глазами, будто от этих строчек – перебои сердца, как перебитовка у начинающего диджея во время сета. Лермонтов, «Я ехал на перекладных из Тифлиса» – просто. Просто внезапно распахнулось окно, и в комнату с холодным ветром ворвалось чувство свободы и опасности. Вот что заставляет дышать – как будто ты никогда раньше не знал, что это такое. Когда между словами – бесконечные просторы, а позади запятых в любой момент – воздушная тревога.

А в моем мире – никакого намека на воздушную тревогу. Ученые-гуманитарии, мы пишем так, что за очередным витком, заканчивающимся на «исходя из вышесказанного», *можно с уверенностью сделать вывод, что, вне всякого сомнения, этот факт наглядно демонстрирует описываемый феномен; с огромной степенью уверенности можно говорить в таком случае о своеобразной двойственности этой нарративной конструкции…* И на каждом шагу, на каждом шагу – добавление целых кластеров суффиксов, нанизывание их на шпажки, нагромождение -ость, -ство, -ние. Когда после долгих ночей бесконечных эссе я встаю – потягиваясь, стряхивая мертвую лихорадку, что бывает, когда надо за столько-то часов написать эссе в столько-то слов, а ты твердо знаешь, что ты пишешь только икс слов за икс минут, и минут выходит намного меньше, чем слов, – за окном брезжит холодный розовый рассвет и начинает верещать как заведенная смешная маленькая птичка, примостившаяся на балконе напротив. И я произношу вслух, глядя на нее, думая о себе: *«Сегодня самой собой мне был продемонстрирован случай исключительной выносливости и пример того, как в экстремальной ситуации, казалось бы, даже истощенный организм способен под воздействием адреналина задействовать скрытые ресурсы и показать результаты, значительно превосходящие мою стандартную производительность труда».*

Постепенно все меньше и меньше замечаешь дефекты высушенной академической речи. Мои коллеги могут произносить двадцатиминутные тирады без перерывов на вдох и выдох, а мимолетный кивок при встрече грозит историческим экскурсом длиной в три тысячелетия: это академическое мышление, такая манера жить и думать, где мозг распознает *как явные, так и имплицитные связи между предметами, не только удаленными в пределах одного семантического поля, но и зачастую не имеющими на первый взгляд никаких идентифицируемых смысловых связей.*

Почувствовав, что перед глазами все плывет и теряет резкость, я встряхнула головой, по очереди сняла с руля одну руку, затем другую и немножко размялась – сжала и разжала пальцы, постучала по матовому пластику приборной панели и снова сконцентрировалась на дороге: новый вечерний город требовал сосредоточенности.

Раньше мне казалось, что Чикаго – это не для меня. Слишком много стали и серого цвета. Но за внешней холодностью и сверкающей поверхностью озера Мичиган таится тот же Нью-Йорк, разве что с большей примесью американского колорита. Нью-Йорк, Москва, Токио, Берлин – все столицы одинаковы: наднациональны и гостеприимны ко всем тем, кому некуда податься. Поэтому Чикаго показался мне родным своей бесстрастностью, своей металлической чопорностью, улицами без деревьев и только клочком зелени в самом центре, в Грант-парке. Металлические конструкции и блестящие шары по всему городу, и дети плещутся в серебристых космических фонтанах, пока прокатная машина проезжает мимо Института Искусств, который под огромный залог и с невиданными мерами безопасности предоставит завтра для показа на конференции славистов оригинал Кандинского.

Решение Международной ассоциации славистов проводить в этом году конференцию в башне Трампа озадачило ученых с репутацией и в возрасте и прошло совершенно незаметно для молодежи. Это вроде бы небольшая перемена, «перенос нашей святая святых в логово торжества капитализма», прокомментировал на страницах ежеквартального «Русского обозрения» крупнейший специалист по поэзии Державина профессор Д. Но, заявил он, Трамп-отель, символически протыкающий небо штыком своей башни, не только демонстрирует то, что у открытого всего десять лет назад центра нейронно-конфликтных разработок уже набралось немало щедрых выпускников, но главным образом отражает перемену статуса современных гуманитарных наук: из угла всеми игнорируемых сирот научной сферы мы наконец-то вышли на авансцену, пообещав явить миру что-то поистине чудесное и невероятное. Точнее, это значит, что профессор Карлоу, под руководством которого я работаю, подступил к грани открытия, которое затмит всё, о чем говорили и писали в последние пятьдесят, а то и сто лет. И это перекрывает все квантовые физики и большие взрывы вместе взятые. Если я не подведу.

Это также значит, что Карлоу появился за последние четыре месяца на обложках *Times*, *The Economist*, *Esquire*, *GQ* и *Citizen K* – и выглядел так небрежно, что, несмотря на сдержанные заголовки журналов первого ранга, издания помельче спешно запестрели выкриками вроде «Carlow made academia sexy», а мне пришлось ассистировать на бесконечных съемках, наблюдая, как мой босс неуклонно превращается в глазах публики в революционную фигуру, олицетворяющую слияние мира старых добрых честных академиков и широко разинутых челюстей глянцевых журналов.

Но это хотя бы вносило разнообразие в мою лабораторную жизнь. Каждый раз, когда наступало время снимать с себя датчики и надевать туфли на каблуке, помахивать портфелем с «секретными» документами (которых, конечно, я и в глаза не видела – по условиям нашего «слепого» эксперимента, информацию мне предоставляли выборочно, в основном о перспективах на двадцать-тридцать лет вперед и очень мало о текущей работе), шагая позади профессора Карлоу в отутюженном костюме от Вивьен Вествуд, который мне подобрали стилисты, работающие с нашей лабораторией, – нет, вы не ослышались, – я считала с каждым шагом и

стуком каблуков аргументы «за» и «против» проекта. Чего же в нем больше – мании величия или бесконечной доброты, мессианства или гонки вооружений, открытия или конкуренции?

На съемках роль Карлоу заключается в том, чтобы стоять, сложив руки на груди, глядя вдаль, в свитере (классическом, но с необычным edgy-кроем) глубокого синего цвета с небрежно перекосившимся треугольным вырезом, и у меня слишком много дел, чтобы размышлять о том, на что я не могу повлиять (поэтому, пока стилисты высчитывали и вымеряли идеальное положение выреза – такое, чтобы казалось случайностью, но не небрежностью, – я успела проверить почту, ответить на двадцать одно письмо и помахать родителям рукой по скайпу. Свою семью я вижу очень редко, не чаще раза в год, а в остальные триста пятьдесят или больше дней наше общение заключается в ожидании друг друга онлайн с учетом одиннадцатичасовой разницы между Казахстаном и Восточным побережьем и как можно более точном и живописном описании того, что происходит там и здесь. По камере я вижу, как растет моя маленькая племянница; как стареет кошка; и упрямо не хочу замечать, как меняются родители. Мои переговоры по скайпу привлекают внимание Карлоу, и он машет мне (жест знакомый, означает «хватит бездельничать, нужно поговорить»), придавая при этом неровности свитера ту самую натуральную небрежность, которой не могла добиться команда из шести человек, закончивших Джуллиард или Сент-Мартинс. Я отключаю камеру и послушно отправляюсь принимать и расшифровывать очередную серию указаний).

Карлоу шестьдесят семь лет. У него сверкающие белые волосы и бородка под Лимонова. Очки в массивной черной оправе, поставленный голос и жесты до того отточенные, что навевают мысль о долгих упражнениях перед зеркалом или даже о личном тренере. Впрочем, скорее всего, это заметно только мне. Самое главное во внешности Карлоу – это безграничный интеллект, въевшийся, как пыль, в его тонкие веки и прямой нос с горбинкой настолько, что иной раз мне кажется я могу прямо по лицу подсчитать его IQ. По слухам, от 170 до 200; самый молодой участник общества Менса за всю его историю; самый именитый профессор в Массачусетском технологическом; основатель кафедры конфликтной нейрологии; сухой, строгий, всегда одетый в серое с белым или голубым; Карлоу не дает мне спуску.

С самого начала нашей совместной работы мы установили границы и правила. Поскольку работа означала непрестанный переход на личности, точнее на личность – мою, профессор посвятил меня в личные мотивы своего исследования, а также в собственные амбиции, планы и дальнейшие разработки. Само собой, говорить об этом мне запрещалось – под страхом «экспериментального приема» по выборочной ликвидации воспоминаний. Поэтому пока все видели в Карлоу сухого и безукоризненного ученого, который вот-вот перевернет мир, я одна представляла масштаб его злого – и доброго – гениев.

Когда я сидела в очереди волонтеров для эксперимента, скатывая в комочек номерок с цифрой 964, я была уверена, что сама возможность увидеть профессора Карлоу стоит потраченных впустую трех с половиной дней ожидания, после которых я и 1328 других претендентов составим проигрышный пул, подаривший миру одного идеального кандидата для программы нейроконфликтного программирования. Два года, пять месяцев и шесть дней назад оказалось, что этот идеальный кандидат – я. Молодая женщина (место рождения: Казахстан; национальность: немка; родной язык: русский; гражданство: Германия; место проживания: США, город Кембридж; род деятельности: докторант кафедры миросистемного анализа; сфера интересов: политика и культура бывшего Советского Союза; коэффициент интеллекта: 142; телосложение: истощенное ввиду анорексии; тип информационного метаболизма: этико-интуитивный экстраверт; особые характеристики: засекречены) двадцати семи лет, родом из Средней Азии, с запутанной личной историей; прошедшаяся пунктирной линией по карте Европы, проследовавшая дальше на Запад с намерением революционировать экспериментальную славистику и попавшая в сети миросистемного анализа, я оказалась идеальным пластилином для эксперимента века.

– Подходящий материал в условиях глобализации, – резюмировал Карлоу, представляя меня немногочисленным коллегам.

Он не только помог остальным участникам смотреть на меня не как на живого человека, а как *на сплав конфликтных жизненных экспириэнсов,* но и открыл мне глаза на то, что я такое. Как оказалось, я – это *переплетение различных неравновесных векторов и нарушенных парадигм, которое удерживает баланс исключительно благодаря природному инстинкту самосохранения и подсознательной танатонаправленной рациональности, приводящей в действие психологические противовесы, что дает в сумме нулевое положение.*

– Ваша жизнь, ваш опыт и ваши поступки, – неторопливо объяснял мне Карлоу, – пример нарушения всех положенных парадигм и почти бесконечного – но не бесконечного, так как вы не больны душевно, – количества конфликтов. То есть, если хотите, вы относительно здоровая физически, но патологически переломанная личность, не подлежащая восстановлению.

Со временем я и сама привыкла думать о себе в таких терминах, мысленно разделяя себя как человеческий пластилин нашего времени (девяносто пять процентов времени) и себя как живого человека, у которого есть свои мысли, желания, чувства и остальное (пять процентов, сто процентов которых приходятся на ситуации, когда я нахожусь в полном одиночестве). Поскольку вне эксперимента я не могла никому сказать о том, чем стала моя жизнь, а в рамках эксперимента никого не интересовало, о чем я думаю, *сложившаяся ситуация привела к частичной утрате мной своей социальной идентичности – восприятия себя относительно (релятивно, если правильно использовать эйнштейновскую теорию применительно к экспериментальной гуманитаристике) других людей, поскольку они перестали выполнять роль проекций моего представления себя на окружающую среду.* Ведь не могу же я вступать в спор со всеми подряд, объясняя, что единственное обвинение в мой адрес заключается, по сути, в том, что у меня есть душа, мозг и тело, которые время и пространство тасуют по своим законам.

В прошлом месяце Карлоу снимался для обложки ежегодного специального международного выпуска *Vogue*, где его фотография должна была появиться, перечеркнутая надписью «Science is the new sexy»[1]. Таким образом он отыгрывался за тысячи своих коллег, прошлых и настоящих, чья работа извечно считалась пыльной, никому не понятной скукотищей. Карлоу сделал науку популярной, а научную деятельность – сексапильной.

И довольно приятно было осознавать, что в этом был и мой вклад. Часами отсиживая с датчиками по всему телу и радиошлемом на голове, смертельно уставшая, я шла на интервью с бесконечными журналистами из Штатов, Германии, Японии, Канады, России, Китая, Франции и так далее, вплоть до Танзании, улыбаясь, как меня научили, и роняя фразы, тщательно сконструированные так, чтобы производить нужное впечатление, не разглашая лишних деталей. Я усердно выполняла все, что было нужно, – от недельной депривации сна до попыток доказать теорему Ферма для общих случаев. А также: гипноз, строгая информационная диета, восстановление в памяти травматичных эпизодов, ежедневная томография и тонкие провода, к щекотанию которых я так привыкла, что спустя год с начала эксперимента перестала их замечать и могла полностью расслабиться.

После вечернего перелета из Бостона в Чикаго сил не было совсем, но трех таблеток аддерола достаточно для того, чтобы сесть за руль прокатной машины (все расходы за счет проекта) и добраться до центра города. По радио как раз звучала давнишняя песня Ланы дель Рей «Национальный гимн». Я всегда с удовольствием вспоминаю, как мы снимали клип (Лана числилась в нашем списке под номером 889, поэтому профессор легко устроил меня к ней второй артисткой). Лана была в комбинезоне, на котором вышиты пятьдесят маленьких солнц, а у меня – луна, пронзенная через всю грудь стрелой. Мы были влюблены друг в друга, и

[1] «Science is the new sexy» – «Наука – теперь это сексуально»

как меня – жесткие, соблазнительные «Money is the anthem of success»[2], ее привлекали мои «ангельские», как мы их называли для простоты, строки «I'm your national anthem»[3]. Знакомые мужчины завидовали тому, что я теперь знаю, насколько губы Ланы дель Рей на вкус похожи на вишневый сироп; она подарила мне целую коробку такой помады. Но мне нравились две других сцены. В первой главное – карта мира и я, которая раскидывает, как крест, руки через Евразию, пускает корни, врастает в эту землю – не без помощи компьютерной графики, конечно. Когда мы снимали этот эпизод, все происходило наяву, почти: мне казалось, что земля – это я, что мои вены – это реки, а кровеносные сосуды, черные как нефть, перекачивают силу через все тело; от Средней Азии под кончиками левой руки до Арктики; от Большого Кавказа к сердцу, которое билось, предсказывая и завершая все, что произойдет со мной, с землей, с людьми, которые ходят по ней – по мне – и ложатся в землю, становясь мною и ею. Мы ищем Бога над собой, думала я, вглядываясь в искусственное небо над головой, но на самом деле источник жизни – у нас под ногами, и Бог в этой земле, которая позволяет нам рождаться в своей груди и возвращаться в ее любовь. И только одно было тяжело – заставить себя быть равнодушной и ровной, чтобы не сомкнуть в порыве любви, как бы ни хотелось, как бы ни было больно, объятия и не задушить все живое; и поэтому, наверное, руки были прибиты к земле: любовь может быть разрушительна. Когда Лана перешагнула через океан и наклонилась ко мне в той сцене, от которой затрепетали сердца зрителей со всего мира, у кого от восторга, у кого от отвращения или от зависти, – я не выдержала, подняла руки, вырывая с клочьями земли целые куски своей карты, и обняла ее, потянувшись к ее холодной коже и вишневым губам.

Ее руки всегда были очень холодными; и когда она, накручивая мои волосы на палец, снова говорила в камеру: «Money is the anthem of success», – а потом обхватывала меня за плечи и шептала на ухо: «So put on mascara and your party dress»[4], – я удивлялась дубль за дублем, что это прикосновение все так же прохладно. И раз за разом отталкивая ее, раскидывала объятия в кресте навстречу толпе и, стоя на кромке красной стены, призывая назвать меня своим национальным гимном и принять аплодисментами стоя, задыхалась от этой эйфории и воздуха безумия – пока ветер не срывал меня с самого края, чтобы опустить легко, как перышко, вниз, в руки всех людей, что, в волнении толкая друг друга, прорывались жадно к моему телу. И именно за то, что мы показывали в следующие тридцать секунд, это видео запретили на всех каналах, и Лана пересняла его заново, уже без меня и с новым сюжетом. Но для нас главным было то, что клип все равно существовал и ждал на полке своего часа.

В отеле повсюду развешаны баннеры, на кофейных столиках веера программок с Карлоу на обложке. Ничего удивительного: если раньше конференции по экспериментальной славистике набирали около трех тысяч человек ежегодно, то по мере успехов и революционных достижений в нашей сфере посещаемость возросла до десяти тысяч зарегистрированных посетителей; а в этом году, ради презентации проекта, слухи о котором стали распространяться уже в начале года, мы ожидали от пятнадцати до двадцати тысяч участников – это тот лимит, который ассоциация могла устроить, организовать и распределить по заседаниям, сессиям, блокам, круглым столам и т.д. Все отели в Чикаго были забронированы, скидки на студенческие комнаты пришлось отменить, и всех студентов со скрипом принимали общежития Чикагского университета. Одним словом, творилось настоящее безумие, и мой сумасшедший профессор был резок и доволен как никогда.

Следуя указаниям google glass, я отдала машину на закрытую служебную парковку и прошла процедуру быстрой регистрации со старшим менеджером. Он же провел меня до служебного лифта в закрытой зоне башни, где поселили четверых главных сотрудников группы, меня

[2] Money is the anthem of success. – Деньги – это гимн успеха.

[3] I'm your national anthem. – Я твой национальный гимн.

[4] So put on mascara and your party dress. – Тогда крась ресницы и надевай нарядное платье.

и двух осведомленных членов ассоциации. В коридоре велось круглосуточное наблюдение, и в каждой комнате моего номера была установлена кнопка экстренного вызова службы охраны. Все эти меры предосторожности казались мне одновременно несерьезными и излишними. В случае намеренного саботажа не защитят, а вот жить порядком мешают. Но Карлоу упрямо повторял, что если от целенаправленного подрыва эксперимента нас может защитить только молчание, то от случайностей нужно себя уберечь. По моему мнению, специалистом по безопасности Карлоу был неважным – если бы я хотела навредить проекту, то растерялась бы от того, какой именно вариант выбрать. Но хорошо, хорошо, никто ни о чем не знал, и, я согласна, в атмосфере всеобщего ажиотажа и эйфории было бы легкомысленно подвергать эксперимент случайному риску. В конце концов, стоимость моего мозга на данный момент составляла, по самым скромным оценкам, около тридцати восьми миллионов долларов.

– Конечно, они создают атомные бомбы, но мы создадим тех, кто будет решать, как их использовать, – заводился мой профессор, как только речь заходила о ценности эксперимента. В его исполнении это означало разрубить воздух ребром ладони и дергать подбородком, подчеркивая каждый слог, как пунктиром. Страх срыва преследовал его постоянно: все свои лекарства, даже витамины, я заказывала только через лабораторную аптеку; ни на минуту не могла выпустить из рук телефон, потому что Карлоу следил за моим GPS; и каждый вечер в девять ноль-ноль брала мобильник, потому что профессор требовал полного отчета о моем самочувствии. Как при всем этом он не замечал, что я глотаю …кратные дозы аддерола, риталина и снотворного, непонятно. Иногда мне казалось, что он все знает и просто делает вид, что не замечает. Мою учебу и работу никто не отменял, и все свободное время я проводила, уткнувшись в экран компьютера, поглощая страницы в технике скорочтения. Между сеансами депривации сна и сканирования мозга я беспрерывно колесила на такси между Массачусетским технологическим и Гарвардом – сдавала экзамены, посещала семинары, встречалась с научным руководителем, изредка даже удавалось увидеться с друзьями. В обеденный перерыв я писала семестровые эссе прямо в лаборатории, на том же столе, где были разложены снимки моего мозга, а по ночам оттачивала свое письмо, пока не просыпалась по будильнику, чтобы снова и снова продолжать работу с Карлоу. Одним из условий эксперимента было то, что я продолжу свою обычную деятельность и не стану жертвовать личными амбициями – что само по себе было еще более амбициозно, чем кажется. Вкупе с анорексией, с которой, за неимением времени об этом задуматься, я сдружилась как с естественным состоянием своего тела, за два года эти заботы превратили меня из человека внутренних конфликтов в просто изломанного и измученного. Мне, впрочем, было плевать. Как я выгляжу, какие буквы начертаны на моем лице и что думают все вокруг – вопросы, давно отошедшие на задний план. Человек, его физическая оболочка не имеют значения, они лишь носители идеи. И это – все, что имеет значение. Для поддержания тонуса и социально уместного внешнего вида есть лекарства, косметика, индустрия моды и отбеливание зубов. Есть тысячи методов создавать и поддерживать визуальную форму и защищать содержание. Поэтому тело и внешность – блеск в глазах, энергичность, грация кошки и глубокий взгляд – не более чем социальный конструкт, метод самопрезентации. Важны лишь идеи.

Тело, впрочем, постоянно подводило – как ненадежный приятель или бывшая любовь из Оксфорда, сама память о которой была вытравлена и выжжена из моего мозга. Тело требовало еды, сна, отдыха, глюкозы, доброты к себе. Эмоции и привязанности никуда не исчезали: я выкраивала время для встреч с лучшей подругой Сарой, для свиданий и разговоров с родителями.

Войдя в комнату, я бросила на кресло дорожную сумку и свернулась калачиком на кровати. Из-за аддерола сердце колотится как сошедший с рельс будильник, отсчитывая ежесекундные удары, словно разряды молнии. Мозг работает безупречно. Я чувствую себя машиной, разогнавшейся до скорости пятьсот километров в час: идеи, о которых я читаю, моментально

визуализируются и систематизируются у меня в голове; данные по ходу чтения складываются в таблицы и схемы; я могу перевести в график поэзию Джона Донна и довольствуюсь одним-единственным прочтением Канта. Мой ум точен, резок и четок, я улавливаю концепты моментально и почти инстинктивно ощущаю связи и ассоциации всего со всем. Любая мысль – будто стрела, разрезающая бесконечную темноту вокруг, и единственная проблема заключается в том, что из-за этой остроты понимания и осознания я не могу спать, просыпаясь от полудремы, от внезапного поворота в уме знакомой теории или открывшегося в бесконечность герменевтического круга интерпретаций того самого романа, о котором…

Круговорот мыслей истощает тело, и я постоянно пребываю в состоянии между сном и нереальностью, передвигаясь как в тумане, если под рукой нет таблеток, то и дело вздрагивая, когда в голове детонирует новая мысль. Вспышки, одна за другой, бьют в виски и держат меня на плаву, а таблетки помогают держать тонус для того, чтобы ухватывать и запоминать все, что я вижу и узнаю. Когда же я понимаю – больше умом, чем по ощущениям, – что вступаю в критическую зону, я всегда могу опрокинуть дозу снотворного, как алкоголезависимый первую стопку, и сделать перерыв, чтобы…

Я никогда не была счастлива так, как в эти два года. Лучше не бывает ничего. Ты можешь всё, и тебя на всё хватает, даже на то, чтобы…

Строго говоря, так было и раньше, до эксперимента, только мягче, медленнее, с неуверенностью, как движутся на экране актеры при замедленной съемке. А потом кто-то наконец нажимает на «play». Карлоу объяснил мне, что стремится расшатать, *разорвать равновесие, привести в действие все потенциальные точки конфликта и нарушить баланс взаимодействия тела и разума,* ввести их в состояние войны за дух, за…

Больше всего я люблю последние полчаса перед сном. Когда я рисую на языке белую точку сна, и через десять минут она начинает расплываться, растекается сначала по лицу, как шелковый платок с хлороформом, течет вниз по шее и плавно приплывает к рукам и ногам, прижимая меня к кровати, в пропасть пустоты, где больше не…

Я откинулась назад, нажала на кнопку пульта, приводящую в действие жалюзи, и «сегодня» закончилось.

Глава вторая, в которой я вспоминаю, как праздновали свадьбы у нас в Берлине, и рассказываю о клубной юности молодой вертихвостки – что может привести в ужас любого, кто не вырос в пост-СССР

Двадцать один год назад я узнала, что такое дом: смотреть на дорогу, ведущую из аэропорта в город через степь. Через зеленую и живую в конце июня, через покрытую толстой шубой снега в феврале; через сухую и выжженную в августе; через едва подсвеченную фарами, мчащуюся за окном шершавой серой полосой, – на дорогу, которой возвращаются, которой сама буду возвращаться год за годом, чтобы видеть, как я стремительно меняюсь, а дом все сильнее и сильнее застывает, как засахарившийся мед, как вода событий, превращающаяся в лед памяти, чтобы с каждым разом все резче и страшнее отрезвлять и заставлять видеть, чем ты становишься – и чем ты все больше и больше отличаешься от мира, где родился и вырос. В конце пути я буду много раз возвращаться, открывать кованую калитку родительского дома, подниматься по терракотовым ступенькам туда, где жизнь по-прежнему тихая и теперь пустая. И снова уходить.

Я впервые увидела, как выглядит дорога домой, в тот день, когда в Берлине праздновали свадьбу тети Эльвиры и дяди Феликса. Мне тогда только исполнилось шесть, осенью я должна была пойти в школу, и родители решили свозить меня в Москву – посмотреть Кремль, Красную

площадь и мавзолей Ленина. Вернуться мы должны были утренним рейсом прямо в субботу – в первый день свадьбы и в последние выходные летних каникул.

Самолет задерживали; час, второй, третий августовской жары в душных залах ожидания – и к тому моменту, когда мы наконец погрузили чемоданы в багажник такси, наши родственники уже несколько часов как праздновали счастливый союз Феликса и Эльвиры.

В те годы достаточно было сказать водителю такси:

– В Берлин, на свадьбу, – и тот без вопросов заводил двигатель.

В Берлине я бывала не так часто – мы жили в городе, – поэтому с нетерпением ждала встречи со всеми своими бесконечными троюродными братьями и сестрами, которых было так много, что мы не знали друг друга по именам. Первым делом, приезжая к ним, я снимала обувь, потому что все вокруг ходили босиком, и дядя Валера подхватывал меня на руки, подбрасывал в воздух и одобрительно кивал: «Выросла, выросла, очень даже подросла!»

– Мама, а как дядя таксист понял, куда именно нам нужно ехать? – шепотом спросила я. Мама сказала мне то же, что и я вам: все таксисты знают, где находится Берлин.

– Мы просто поедем в Берлин, а там по всем улицам, пока не найдем свадьбу.

– А как мы найдем свадьбу?

– Увидишь.

В двадцатые годы двадцатого века, когда еще не было ни самой Караганды, ни даже самого смутного представления о том, что скоро здесь развернется «третья кочегарка СССР», на месте будущего немецкого поселка Берлин стали лепиться друг к другу землянки, саманные бараки и построенные наскоро сарайчики, быстро покрывавшиеся угольной пылью – настолько въедливой, что бороться с ней не было смысла, – и махнув рукой, и тогдашние, и будущие жители позволили пыли забиваться в углы под крышами, в ниши подоконников и даже между ресницами – оттого стены домов всегда стояли черными, а наших мужчин-шахтеров можно было узнать по антрацитовой подводке вокруг глаз.

В непонятном мне далеком августе сорок первого за один-единственный день перестала существовать Республика немцев Поволжья. Будто ее никогда и не было. Суровые и страшные в моих детских снах вереницы теплушек несли депортированных немцев (а если немцев, спрашивала я сонно, то, значит, это наших родственников? Это кого? Бабушек и дедушек?) без запасов воды, пищи и без теплой одежды в Сибирь и Среднюю Азию. Около полумиллиона таких моих бабушек и дедушек прибыли в Казахстан. Большая часть из них осела у нас в степях: здесь нужно было поднимать целину и добывать уголь, хотя правильнее было бы сказать, бороться за него. Тогда шла война и не хватало инструментов, не хватало оборудования – и поэтому мои бабушки и дедушки брали в руки голые кирки и лопаты и долбили промерзлую землю, пока не отказывали руки или не вскрывались угольные пласты; а потом грузили уголь на маленькие ручные тачки и так вывозили добычу.

После войны трудармейцам разрешили, хоть и без права выезда, селиться в Караганде. Так на месте одного из шахтерских лагерей вырос немецкий поселок Берлин, в котором выросла моя мама и где до сих пор жила почти вся ее родня. Но хотя и отец, и бабушка тоже успели поработать в шахтах, мне сложно было тогда представить, что все эти зажиточные, побеленные, ухоженные дома, пузатые, как баба на чайнике, принадлежат тем людям, о которых они рассказывали. Мой детский страх из папиных рассказов – что в шахте никогда нельзя встать в полный рост, и пока тянутся минуты и часы, готов поклясться, что все бы отдал за то, чтобы потянуться, выпрямить спину, ну хотя бы просто встать на ноги. Чтобы отвлечься, размяться, шахтеры ложились на спину прямо в штольне и вытягивали руки, но это не обманывало; к концу дня начинало мерещиться, что спина настолько задеревенела и закостенела, что выходи не выходи из шахты, уже все равно не выпрямиться. В те годы, приходя после работы, папа подолгу делал зарядку и каждый вечер подтягивался на турнике, но все равно не помогало; назавтра было то же самое.

Когда мы свернули на улицу Розы Люксембург, я поняла, о чем говорила мама. Вся улица была битком набита людьми, и воздух гудел, как пчелиный улей. Нас сразу заметили и бросились встречать, шумная толпа накатилась волною, кто-то уже забирал чемоданы, чья-то рука тащила к столу, усаживая на места, которые сразу же освободили, подвинувшись, какая-то наша тетя и двоюродная бабушка; невеста, моя тетя Эльвира, уже плыла к нам в своем нежно-голубом платье, ведя за собой дядю Феликса. Уже к нам придвигали блюда с салатами со всего стола, а тетя Нелли медленно, осторожно несла на подносе три суповые тарелки. Как на всех наших праздниках, это был куриный «суп-лапша», мы его так называли, совместив на немецкий манер два существительных в одно.

Как я ждала тети-Неллиного подноса! Сам суп я и в рот не брала, но мне очень хотелось посмотреть на лапшу. Мама рассказывала мне, что когда свадьба была у них с папой и они тогда тоже еще жили в Берлине, вся наша внушительная женская армия из дочерей, сестер, теток и бабушек вместе с мамой полтора дня без перерыва катали тесто и резали его на лапшу, бурно ссорясь, если лапша не выходила тонкая-претонкая.

– И ты сама перед свадьбой тоже резала лапшу все полтора дня? Правда? – спросила я.

Мама рассмеялась.

– Немножко меньше. За час до начала ушла с кухни готовиться. А твоя прабабушка Катя, если ты ее капельку помнишь, и бабушка, и тетя Нелли, и Эльвира остались и продолжали еще катать тесто для второго дня свадьбы. Если бы мы вчера были в Караганде, я бы тоже весь день сидела у Эльвиры на кухне.

Я зачерпнула ложку супа и поморщилась – ну и запах. Бабушка говорила, что я балованная, но есть заставляла меньше всех. Прямо на поверхности бульона расходились тонкие колечки. Я пошлепала, зацепила пару колечек и вернула ложку в тарелку. Но тетя Эльвира, наверное, гордится своей лапшой.

– Мам, она прямо как мои волосы, такая тоненькая.

Мама кого-то слушала и, вежливо кивая, в ответ только стрельнула в мою сторону глазами и погладила по руке. Я разглядела в толпе фату тети Эльвиры. У Эльвиры был прямой нос, темные волосы, которые двадцать лет спустя красиво посеребрит седина, и уже чуть заметная поступь главной кухонной матроны, что через те же двадцать лет, осуждающе покачивая головой, будет объяснять мне, почему это плохо, что я до сих пор не замужем. Но это все будет потом, позже – enfant terrible[5] в своей большой семье мне предстояло стать уже после того, как мы уедем в Германию; после того, когда я сбегу с нашей чужой исторической родины в Англию; и (здесь не совсем уверена), возможно, до того, как я окончательно сошла с рельсов и без предупреждения рванула в Америку; а про тот вояж по Югославии даже говорить неприлично, впрочем, как и про меня саму. Но тогда я еще была маленькой девочкой в очках, а Эльвира – цветущей крупной женщиной, на которую заглядывалось пол-Берлина и у которой точно, иначе она не она, была самая веселая свадьба.

Свадьбы в Берлине вообще праздновали лихо, на всю катушку, как любила говорить прабабушка Катя. Она выросла еще на Волге, в автономии, и была по складу своему истинной немкой, строгой, хозяйственной, степенной, рассудительной, какой, мне кажется, никакая женщина сегодня уже не сможет стать. Все-таки сегодня мы стали совершенно другими, отличными от женщин той породы. Я совсем мало помню прабабушку, но мама говорит, что она очень, очень любила свадьбы, – а гулянья на Волге в те времена, когда она сама выходила замуж за дедушку Мишу, и у нас, в Берлине, отличались мало. Поэтому даже сейчас ее легко представить – как она сидит на почетном месте во главе стола, наблюдает с довольной улыбкой за всей этой свадебной неразберихой и комментирует на малопонятном немецком. Как и все в автономии, прабабушка говорила на архаичном поволжском диалекте. А еще она меняла

[5] enfant terrible – непослушное дитя, источник проблем

местами звуки «ш» и «ж»: моего дядю Сашу называла «Сажжа», а к дяде Жене обращалась «Шшеня». Эти «Сажжа» и «Шшеня» до сих пор у нас в ходу – переехали, вслед за самими Сашей и Женей, в Германию.

Из того немногого, что я то ли помню, то ли знаю о прабабушке, есть еще черно-белая фотография на эмали в овальной рамке, которая висит на кладбище. Я рассматривала ее подолгу, пытаясь понять, как так происходит, что была эта красивая женщина, а теперь она где-то здесь, в земле, которая нас разделяет. Потом мама сметала с могил всех наших листья и пыль, а мне давала пшено, чтобы я разбросала его по всему участку.

– Это хорошо, если будут прилетать птицы, – говорила она, и я аккуратно разбрасывала крупу, продолжая искоса наблюдать за портретами. За их долгую память выпили не чокаясь, а Эльвира с Феликсом еще и не целуя друг друга на «горько», и все минуту помолчали. Когда гул разговоров возобновился, я стала потихоньку пробираться к выходу. Присматривать за родителями особенно было некогда, так что я оставила их веселиться с другими взрослыми, а сама пошла знакомиться с очередными опоздавшими гостями, которые появились на пороге. Их дети, наверное, приходились мне какими-нибудь троюродными или четвероюродными, но взрослые обычно отмахивались от таких вопросов, отвечая, что мы «седьмая вода на киселе». Нас было так много, что, не считая двоюродных вроде меня и Кати, все вместе мы виделись от силы раза два в году, на Рождество и Пасху. Ну а чтобы играть вместе, можно уж и познакомиться по новому кругу, чего там.

У нас с Катей на уме была та самая машинка для резки лапши, про которую мне рассказала мама, а я, в свою очередь, пересказала Кате, она – старшей сестре Юле, Юля – троюродному брату Максиму, Максим – двоюродному Андрею, Андрей, кажется, Володе, про которого я не знала, кто он, а тот передал еще дальше. Мы пытались определить, как она должна выглядеть и можно ли ею убиться. В конце концов я попыталась найти маму, чтобы спросить, но искать уже не было сил – так хотелось спать. «Спросим завтра, как только проснемся», – сонно договаривались мы с Катей, устраиваясь спать на лавках на кухне. Нам уже приготовили там целую гору одеял и подушек, и оставалось только разгрести себе норку, устроиться поудобнее и закрыть глаза.

Знаменитую лапшерезку я все-таки увидела на следующее утро первая, потому что проснулась раньше всех. Тетя Эльвира, ее мама, обе сестры и наша бабушка резали лапшу, суетясь и аккуратно обходя нас каждый раз, когда им нужно было пройти мимо лавки. Я выбралась из-под одеял, поздоровалась со всеми и встала рядом с рабочим столом, разглядывая машинку. Спроси меня сейчас, я сказала бы, что она была похожа на старенький струйный принтер и что я чувствовала себя unimpressed[6]. Но в те времена, конечно, я не знала, как выглядит принтер, и даже не представляла, что года через два у нас в квартире появится третий «Пентиум», занимающий половину папиного стола. Впрочем, даже тогда чувство легкого разочарования хваленой лапшерезкой все равно проскользнуло.

– Солнышко мое, ты уже проснулась, что ли, так рано? – спросила бабушка Ома.

На самом деле бабушка у нас никакая не Ома, а Ирма. «Ома» – это «бабушка» по-немецки. Говорят, что «бабушка Ома» пошло от Кати, когда она еще только-только начинала говорить и путала русские и немецкие слова. Катя, конечно, такого не помнит. Но это смешное имя бабушке понравилось и так и прижилось у нас.

– Да, – сказала я сонно, – вот смотрю машинку.

– Ну, тогда давай завтракать, я буду чай пить, а для тебя пирожки – как раз только напекли.

[6] unimpressed – не в восторге

Вымыв руки с мылом, бабушка долго и крепко вытирала их полотенцем. Такой у нее характер: она всегда все делает основательно, приговаривая: «С чувством, с толком, с расстановкой». Потом она сняла с буфета деревянное блюдо с пирожками, выложенными в три ряда.

– Вот эти, с краю, – с мясом, эти – с капустой, а в центре – с картошкой, – сказала она. Поставила передо мной тарелку, чай, сахарницу и сама села рядом. Как у нас с ней было заведено, я ела пирожок с ножом и вилкой, предварительно нарезав его на кубики.

– А где мама с папой? – спросила я, ковыряя вилкой кубики, вылавливая и аккуратно отделяя лук. Бабушка заметила, усмехнулась и пробормотала в одно слово, как она это часто делала:

– Ах, дурнадевчушка, дурнадевчушка… Ну чем тебе этот лук не угодил?

– Бабушка, – спросила я, – ну с тобой-то ведь можно? А где мама с папой? Уехали без меня?

– Они очень поздно, в шесть часов поехали. Я сказала, чтобы тебя не будили, все равно вернутся сегодня. На всех лавок не хватило у нас.

– Так ведь почти двести человек! – крикнула тетя Нина из-за двери. Она разбирала продукты в сенцах.

– Сегодня еще все Майеры приедут с Кирзавода, и Шандоры, они вчера у кого-то на юбилее гуляли, обещались сегодня пораньше, – объяснила бабушка. – А-а, вот и они, Наташа, Юра, добрый, добрый день, майне либе! Ну что, я тогда буду всю эту дворовую команду будить… Киндер, подъем! Пора вставать! Надо помочь папе во дворе, подъем-подъем!

Когда мы, доедая на ходу свой завтрак, высыпали во двор, дедушки сидели вокруг одного из столов, разговаривали и ели, а Феликс с дядьками раздвигали скамейки, на которых ночью спали гости, и ставили их снова буквой «П». Пока мы перенесли на кухню всю грязную посуду, прошло, наверное, часа два, не меньше, и мы порядком утомились и с Юлей и Дениской снова закутались в успевшие набрать прохладу одеяла на кухне.

– Ой, свадьбы такие долгие, – пробормотала Юля, зевая, – а хорошо бы, чтобы они вообще всегда были и не заканчивались, тогда можно не ходить в школу.

Мы с Дениской оба насупились, потому что еще не ходили в школу и очень завидовали. А потом я вспомнила, что я уже тоже почти школьница, и обрадовалась.

– А я тоже пойду в школу, я тоже пойду в школу! Только не знаю, когда еще.

– Ну как – когда, – засмеялась Юля. – Завтра и пойдешь, и я тоже, будем вместе.

Как-то это было все ново и волнительно. Солнце уже опускалось, и снова собирались гости, вчерашние и новые, и самое главное – мама с папой тоже уже вернулись. Я пробралась к ним, и папа посадил меня к себе на колени. Потом все стали хлопать, тетя Эльвира с дядей Феликсом опять поцеловались, а потом Эльвира сказала, что время пить чай.

Бабушка как раз накрывала сладкий стол с ривелькухами и аккуратно, по одному предмету, выставляла в середину стола свой любимый югославский сервиз. Мы пили из него чай только по самым большим праздникам – и то как-то раз умудрились отколоть кусочек от краешка чашки, и теперь бабушка все время расстраивалась, когда чашка попадалась ей в руки этой стороной. Сервиз ей удалось достать через свою начальницу на шахте Кирова; на самом деле она, конечно, хотела чешский набор, но оказалось, что есть только югославские, и всего две штуки. Начальница взяла себе один, и бабушка тоже решила, что лучше не такой, как она хотела, чем вовсе никакого.

Мама надела новое зеленое платье, которое они позавчера купили в Москве, в магазине с глупым названием «Ядран». Родители так долго там ходили, что я совсем извертелась от скуки, потому что книжки у меня с собой не было. Чтобы подразнить магазин, я стала произносить его название задом наперед, без перерывов и быстро-быстро, потому что так звучало еще глупее. Зато теперь мама была в этом платье с баской и короткими рукавами такая красивая, что я даже

покрутила головой по сторонам, чтобы проверить и убедиться, что все заметили, как вдруг появилась Катя и дернула меня за рукав.

– Там ряженые! Давай быстрее!

Ряженые готовились к выходу в спальне бабушки Мины. Пока они красили лица женской косметикой, мы допытывались, какой будет сюрприз и будет ли поддельная (подставная, поправила бабушка Мина) невеста. В прошлом году на свадьбе у Нелли дядя Феликс изображал невесту, а ее жених, Артем, размахивал руками и делал вид, что сердится, кажется, под конец даже на самом деле немного рассердился.

– Будет, будет? – продолжали расспрашивать мы, пытаясь делать вид, что помогаем им готовиться, и перекладывая парики и краски из одной коробки в другую.

– Да будет, будет! – не выдержал самый главный. – Унбедингт! А то как же? Давайте, девчонки, давайте, – пропустил он нас в коридор перед собой. – Пора начинать наше колдовство! Ага, повеселимся, да? – подмигнул он мне.

Я пожала плечами на ходу.

– Я же еще не видела! Посмотрим!

– Ух ты какая, Фома неверующая, – растерялся он.

– Ну а как я заранее узнаю?

Поздно ночью мы снова засыпаем, прикорнув прямо во дворе и не добравшись даже до своего царства из одеял на лавке. Тут тоже постелено, и музыка совсем не мешает, поэтому я опускаю голову на подушки и начинаю ждать момента, когда засну, потому что сколько ни пытаюсь, не могу его поймать. А потом из середины теплого, мягкого сна меня поднимают на руки, и я чувствую, как колется папина щека, и слышу, что перестала играть музыка, а вокруг слышатся тихие, будто жужжащие, голоса.

* * *

Что ты будешь делать – постперестроечный, постсоветский Казахстан. Через десять лет я – вертихвостка с живым умом, высокомерно выговаривающая не более положенной меры тривиальные мысли, окруженная восхищенными мальчишками шестнадцати-семнадцати лет; и спасает меня только то, что природа наградила хорошими мозгами, а родители много чему успели научить, пока я еще была маленькой и должна была думать, что правила есть; пока я еще не знала, что их нужно нарушать, чтобы стать самой собой; и пока моя семья не махнула на меня рукой, оставив попытки понять и проследить, что же я такое.

Но тогда – тогда я носила самые высокие каблуки в школе, хотя и не самую короткую юбку, – что-то, наверное, в этом было, особенно когда я небрежно повела плечом, увидев в столовой Денисова. Денисов «держал» нашу школу, и вся его мафия, подчиняясь приказу, зачарованно расступалась, пропуская меня в очереди за чаем к тете Нине.

Точно так же меня обошли стороной проблемы с вымогательством денег, внезапным распахиванием дверей в женской раздевалке перед физкультурой, подножками на льду на глазах у всей школы и прочими элементами демонстрации власти этих парней в лакированных туфлях, брюках в полоску, черных рубашках и с одинаковыми прическами: отросшая неопрятная челка, волосы покороче острижены по бокам и отпущены подлиннее на затылке. С точки зрения феминистской теории это, конечно, было совершенно недопустимо – ведь я, пусть даже неосознанно, эксплуатировала стереотип об уязвимости своего гендера и разменивала его на тридцать сребреников покровительства и ухаживаний альфа-мальчика. (Да, Беркли, я имела в виду другое слово. Простая вежливость.) Но тогда я настолько же мало знала о феминизме, насколько много знаю сейчас и была так же равнодушна к дискурсу, как и сейчас. Мое детство и юность прошли в традиционном патриархальном обществе, перед глазами сплошь были примеры женщин и мужчин, которые, хотя и могли делать одинаковые вещи (и по большей

части делали, начиная с самого семнадцатого), отдавали, при очень однородном составе ключевых позиций, разную степень приоритета отдельным аспектам жизненной деятельности. Иначе говоря, при совпадении всех составляющих элементов мировоззрения в целом, мужчины и женщины выстраивали их ценностную иерархию по-разному. И пожалуйста, не нужно мне сейчас про давление отсталого консервативного дискурса и закостеневшую парадигму, которую нужно разломать и уничтожить к черту. Об этом мы с вами поговорим позже, в главе про Чечню. А в шестнадцать лет в моей жизни все складывалось так, что лучше не бывает. Денисову нравилась отведенная ему роль, я была довольна своей, а все вокруг – отведенной им и выбранной ими.

Сейчас, пытаясь представить свою школьную юность и людей, которые меня окружали, я вспоминаю только хриплые звонки и ряды старых парт, коридоры, закованные в зеленый линолеум, кудрявые волосы учительницы по химии, в которых каждый год появлялось все больше и больше седых прядей; тайные очереди за травкой, которую привозили по вторникам и пятницам; смутный гул столовой и ряд вечно окружающих нас с Денисовым (хотя – просто Денисова) преданных лиц – а я лениво листаю Мураками (считалось признаком независимого ума) и изредка смущенно улыбаюсь, не зная, что делать. За три года наших нежных не-отношений Денисов много раз приглашал меня на свидание, и каждый раз я отказывалась, сводя общение к совместным переменам в столовой; а все вокруг, так и не понимая, что между нами происходит, безмолвно приняли не-отношения за отношения и не задавали вопросов.

Правда была в том, что я до смерти боялась хоть на минуту оказаться с ним наедине и мне вовсе не хотелось ни держать его за руку, ни ходить в кино, ни разговаривать вечерами по телефону, закрывшись от родителей в своей комнате. А когда мы спустя годы нашли друг друга в фейсбуке, оказалось, что нас даже на приветственное сообщение не хватит.

В остальном школа заключалась в том, что днем я училась на пятерки, без исключений, «это не достижение, а норма», тянула руку на уроке алгебры, чтобы сбросить груз вызубренных на перемене формул, и честно, без прогулов, ходила на уроки начальной военной подготовки, учась маршировать в строю, надевать противогаз и перебинтовывать пулевое ранение.

Две ночи в неделю я крутила пластинки в клубе «Фабрика» – и родители разрешали, хотя слухи о том, что я работаю в ночном заведении, дошли даже до математички, и родителей вызвали в школу. Они были рады: впервые за шестнадцать лет я хоть что-то натворила. Мама просто светилась, а папа довольно улыбался и щурился.

В шестнадцать лет я курила кальян в компании подруг или очередных поклонников, чье внимание я совсем не ценила – оно по большей части меня пугало, но я не оставляла надежды однажды влюбиться. И хотя дважды в неделю я не ночевала дома, у меня никогда в жизни не было свидания за пределами школы, я никогда не целовалась и недоумевала, где же в этой жизни все то, о чем писали Джейн Остин или Шарлотта Бронте. Мне никогда еще не случалось увидеть кого-то и забыть обо всем на свете, и было страшно, что это неправильно.

Каждое утро мама привозила меня в школу, и в восемь ноль-ноль я пела вместе со всеми гимн Казахстана. В четырнадцать ровно меня забирал папа, я обедала пиццей прямо в машине, по дороге к репетиторам. По понедельникам и четвергам я занималась английским, по вторникам и пятницам – французским, в среду и субботу ездила на математику; четыре раза в неделю мама забирала меня от репетитора, и мы ехали на тренировку по теннису. Пятница и суббота были клубными днями: в десять вечера папа останавливал машину прямо около первой ступеньки лестницы «Фабрики» и звонил охраннику Асланбеку. Асланбек выходил на улицу, встречал меня и заводил внутрь, и только после того, как за моей спиной закрывалась железная дверь, папа отъезжал от клуба. И каждый раз в три часа утра меня возвращал домой один и тот же водитель такси, папин бывший одноклассник.

То были первые годы, когда и до Караганды добрались волны пошлого лубочного гламура, и дурная мода быстро разошлась, превратившись в ширпотреб, вульгарный и притор-

ный, как пережженный сахар. Девочки при ходьбе вызывающе покачивали бедрами в миниюбках, подражая то ли Джей Ло, то ли Бейонсе, а парни сплошь разгуливали, заткнув большие пальцы за ремни с огромными пряжками. Сравнивать доходившую до нас издалека моду нам, культурно нищим постсоветским детям, было не с чем, и мы не особенно задавались вопросом о том, существуют ли другие развлечения и занятия. В районной библиотеке для детей и юношества, пустовавшей дни напролет, можно было иногда увидеть людей в возрасте, в лучшем случае выбиравших книги своим детям или внукам. Мы-то даже представить не могли, что можно записаться и регулярно ходить в библиотеку, а наши родители, как мне кажется сейчас, были настолько растеряны и испуганы тем, что случилось с историей вообще, что сами не знали, не понимали, что хорошо, что неплохо, а что не очень. В клубах в это время напропалую крутили R'n'B, и пятнадцатилетние подростки получали возможность беспрепятственно вступать в мир, где было две дороги: или верить в такую жизнь или обслуживать ее.

Я занималась вторым под руководством DJ Alysh – Алыша Батырова. Когда я впервые пришла к нему, мы оба решили, каждый про себя, что я безнадежна. «Так, ну, короче, нажимаешь тут, тут и тут, вот здесь крутятся пластинки, тебе надо, чтобы ритм совпадал, слышишь, биты, короче, и подкручиваешь вперед или назад», – объяснил он мне, а потом сунул в руки кейс с пластинками:

– Давай!

Стыдясь признаться в том, что ничего не поняла, я решила пробовать наугад. Иногда у меня получалось, особенно когда Алыш стоял рядом; но чаще всего дело заканчивалось дикой перебитовкой, и когда Алыш выводил звук в зал, «лошади» – несовпадение битов в треках, которые ты сводишь, – вызывали у него все большую и большую усмешку в глазах. К четвертому занятию у меня началась паника: я не решалась признаться, что с самого первого занятия не понимаю, что нужно делать; заниматься диджеингом мне расхотелось совершенно, потому что снова приходить и еще раз подвергать себя позору было невыносимо.

Выносимо это или невыносимо, за пять минут до репетиции я снова стояла на сцене. Алыш уже даже не старался скрыть свои скуку и обреченность, и я была благодарна ему за то, что мне не приходится гадать, недоволен ли он мною и насколько сильно. Мы встали за микшер, и все было как обычно – лишь с тем исключением, что где-то в середине репетиции я вдруг поняла, что именно он только что сделал.

– Извини, а можно еще раз? – невпопад спросила я Алыша.

– В смысле? – переспросил он.

Я нажала на кнопку «стоп».

– Давай заново.

Алыш пожал плечами и снова свел два трека. Я нажала «стоп» еще раз, встала к микшеру и повторила.

– Слушай, работает, да? Давай, сестренка, давай жару!

Я переключила один трек, другой, снова свела, снова переключила и снова свела. Идеально. Еще через раз была легкая неточность – я прислушалась, чуть подкрутила пластинку и посмотрела на Алыша.

Он чуть наклонил голову набок, впервые рассматривая меня с интересом.

– Любопытно. А давай вот это, – и поменял пластинки.

Чуть лучше, чуть хуже, поняв механизм, я раз за разом справлялась с разными треками, которые он для меня подбирал.

– Надо же, то не получалось, а то здравствуйте, – сказал Алыш. – В чем дело-то было?

Я тряхнула головой.

– Да так.

Через три недели я отыграла свой первый сет и сквозь полудрему на уроке алгебры вспоминала свою дебютную ночь в качестве диджея. Друзья Алыша подходили ко мне, пожимали руку и поздравляли, а он сам подарил мне бейсболку и, похлопав по плечу, сказал:

– Хорошо зажгла, горжусь тобой как брат, короче.

Неизвестно, что бы из меня вышло в результате, если бы вдруг не грянул гром: после долгих месяцев совещаний за закрытыми дверями родители объявили…

Нет, начинать надо с другого. Месяцем ранее я внезапно обнаружила, что люди бывают разных национальностей. И оказывается, это важно, очевидно, очень важно. В наш класс перевели девочку из Москвы, которая странно разговаривала: она называла чье-то имя и сразу – национальность.

– Мой друг Руслан, чеченец… – говорила она. Или: – Та девушка, Катя, она еврейка… – Или: – Ну, у них такая, знаешь, обычная русская семья.

Оглядевшись по сторонам, я поняла, что действительно все так и есть. Есть, оказывается, такая незначительная фишка, которая вроде как делала всех разными. Были казахи и были корейцы. Русские и украинцы. Евреи, немцы, греки, чеченцы и армяне. Оказывается, из-за нее все и выглядели по-разному и поэтому же носили разные имена. Но на этом отличия, кажется, и заканчивались. Мы все ходили в одни и те же школы, готовили дома одни и те же блюда, так же ездили в Москву, мечтали о Европе и говорили на одном языке. Это и есть та самая «дружба народов», о которой пишут в учебниках, догадалась я, и впервые в жизни задумалась о том, что кто-то ведь должен был ее придумать и построить. Сейчас бы я сказала: я поняла, какая пропасть разделяет идею, реальность и ее осознание. История города ответила на часть моих вопросов, но некоторые вещи я так и не смогла понять: например, почему у нас дружба народов была, а у Кати из Москвы ее не было. И сама Катя не понимала, о чем я спрашиваю.

Мне так никогда и не довелось до конца разобраться в этом вопросе, потому что однажды, когда я пришла домой, аккуратно повесила на плечики пальто, свернула шарф кольцом на полке и выровняла носочки сапог по кромке линолеума, на меня обрушился конец света. Германия.

Вначале я даже не поняла, о чем идет речь. Я подумала, что мы едем в гости к бабушке, и удивилась, что родители забирают меня из школы прямо посреди четверти ради того, чтобы поехать в гости. Это было не похоже на нашу семью, целиком и полностью состоящую из overachievers[7] – чего никто из нас тогда, конечно, не знал.

– Но только надо подумать, что делать с английским и русским, математику можно отложить, там уже была контрольная, но еще диджеинг, я поговорю с Алышем…

Родители переглянулись. И тогда, прокрутив в голове то, как именно они сказали «едем в Германию», и то, что они не произнесли слова «возвращаемся», я поняла. Мы делаем как Шандоры и Реддеры. Мы переезжаем в ФРГ.

Сказать, что я не обрадовалась переезду туда, откуда в последние годы приезжали в чемоданах родственников куклы Барби, четырехэтажные пеналы, патрончики губной помады со вкусом кока-колы, заколки для волос и прочая бесполезная всячина, я не могла. Когда я подросла, тетя стала присылать мне какую-то совсем другую, не как у меня, одежду, которую, хоть она мне и не нравилась, я рассматривала с любопытством, пытаясь представить, как выглядят и как живут девушки, которые носят эти футболки, брюки и юбки там, за границей; что у них в голове, что им интересно, что они чувствуют, и отличаются ли от меня. Нам по-прежнему присылали в посылках шоколад, который, честно сказать, уже никто не ел, но мы, казахстанские родственники, не знали, как объяснить нашим немцам, что здесь все изменилось и шоколад нам больше не нужен – да и, в принципе, ничего не нужно, только письма, звонки и, если когда-нибудь смогут и захотят, – чтобы приезжали. Иногда между плитками шоколада

[7] overachievers – слишком упорно работающий, амбициозный человек

попадались какие-то диски, другая музыка, другие фильмы, которые я не всегда понимала, – и потому что немецкий, который был в ходу у нас дома, был одряхлевшей, окаменевшей версией немецкого языка восемнадцатого века, на котором в фильмах, конечно, не говорили, и потому что и фильмы мне ни о чем не говорили.

Конечно, все это было отчасти и волнительно, да что там – круто! классно! За два месяца до отъезда со мной уже стали заранее прощаться, и в школе специально для меня провели дискотеку, которую я организовала сама от и до, и впервые играла не в «Фабрике», – и хотя это, конечно, было немножко глупо, это было одновременно и очень приятно. Что-то приятное хотели оставить мне на память все. От Денисова, который, узнав о моем отъезде, принес в школу и подарил мне запечатанный в черную с серебряным тиснением оберточную бумагу флакон духов от Clinique, бывших в тот год популярными в школе, – они назывались «Счастье», – и сказал, что это знак и прощание, потому что без меня он больше никогда не будет счастлив и, он уверен, я без него тоже. До той самой учительницы химии, которая произнесла прощальную речь при всем классе и подарила мне палехскую шкатулку.

За два месяца я свыклась с мыслью о переезде, и когда действительно пришло время уезжать, прощалась я, как мне казалось, легко и беззаботно.

Я была уверена, что в Германии прерванная самолетом линия просто продолжится – так же будет школа, будут друзья, ведь у меня всегда были друзья; мы с папой и мамой все равно вместе, в новом городе есть теннисный клуб, а мои сверстники в Германии по большей части свободно говорят по-английски – о чем вообще речь? Единственное, чего я, похоже, лишалась, – это диджеинг; на мои вопросы о клубах в Нойберге Эльвира отвечала, что вообще-то в Германии всё не как у нас и я вряд ли смогу ходить по дискотекам. У нас тут на это ограничения по возрасту, так что, как в Караганде, тебя никуда не пустят и, если хочешь знать мое мнение, правильно сделают. Ее тон меня обидел.

«Ничего подобного», – сказала я и сразу поняла, что это несдержанно и неумно. Очень стыдно – с родной тетей! Мама нахмурилась и всплеснула одной рукой, а я знала, что если именно одной, а не двумя, то это значит: прекрати вести себя неприлично! До сих пор я слышала, как мама говорит это, тихо и быстро, один-единственный раз в жизни. Я свернула разговор, поблагодарила Эльвиру и ушла в свою комнату, не поднимая глаз. Я была неправа, и мы обе – и мама, и я – знали, что я это понимаю. За ужином мы с родителями посоветовались и решили, что специально звонить Эльвире в Германию и просить прощения не стоит, потому что это только привлечет к ситуации лишнее внимание и обострит ее. Думаю, сказала мама, что по тому, что ты замолчала, а потом взяла трубку я и была эта неловкая пауза, Эльвира догадалась, что ты поняла свою ошибку. А раз поняла – значит, больше не повторишь ее.

Принимать на себя ответственность за детское поведение и взрослое решение мне понравилось. Невежливо отвечать тете было неприятно, и мысль, что в следующий раз я буду умнее и не поведу себя недостойно, подбадривала, ведь это именно то, о чем говорил папа, когда объяснял про внутреннюю силу и про закалку характера. Но уже тогда у меня стал проявляться несдержанный характер, который я впоследствии стала считать лучшим, что во мне есть, – острый, резкий, упрямый, не поддающийся хорошему родительскому воспитанию. Когда-то телефонное, а теперь ежеминутное высокомерие немецких родственников я невзлюбила, и всякий раз, когда Эльвира бралась объяснять мне что-нибудь, у меня закипала кровь, и иногда я, бывало, бросалась возражать и защищаться – но останавливалась (когда вовремя, когда не совсем), понимая, что бы сейчас сказал мне отец и как расстроилась бы мама. Эльвира – моя тетя, не говоря уже о том, что она старше меня. И я молчала, застывая неподвижно, уставившись в стену стеклянными глазами. За пределами же семейного круга я в таких случаях занимала оборонительную позицию, не атакуя первой, но и не пропуская того, что, мне казалось, переходит допустимые границы, – и это то ли очень портило меня, то ли, наоборот, закаляло

сталь, готовя будущего знаменосца глобализации, я так никогда и не разобралась. Наверное, и вопрос был не из самых важных.

Но это все было позже, а тогда мы стали собирать документы, потом собирать чемоданы, потом собираться с мыслями – и под градом звонков, совещаний с нашими в Германии и тревог о том, что теперь будет, я стала примиряться с мыслью, что некоторые части моей жизни придется оставить в Казахстане. Поверить в это шаг за шагом оказалось проще, чем я рисовала в своем воображении. Диджеинг и клубная культура, как оказалось, совсем не были частью моего сердца, только моей жизни, – а жизнь подлежала изменениям, трансформациям, переломам и всему, что с ней сделают. Так я поняла это тогда.

В честь отъезда Алыш устроил для меня гудбай-пати: опен эйр в Парке шахтеров. Директор парка, мама девушки брата одного из друзей Алыша, разрешила нам в пятницу вечером устроить на одной из площадок в глубине парка, тех, что не выходили на центральную аллею, «свою тусовку». Ребята прикрутили к рампе пару фонарей, привезли колонки и усилитель и организовали алкоголь и автобус. Место хранили в тайне до последнего, и только за два часа до начала всем пришло эсэмэс – приглашение в старый детский театр в заброшенной части парка, который не использовался уже много лет.

Я хорошо знала это место: в детстве мы с родителями приходили сюда после походов в кукольный театр. Воскресенье у нас всегда было днем культпоходов. Мы сами, друзья родителей, а также, в разных конфигурациях, берлинские дяди и тети, у которых были дети моего возраста, – все собирались вместе и шли в зоопарк, кино, кукольный театр, до которого тут рукой подать, или на аттракционы и есть мороженое в парке. Мы тогда много времени проводили все вместе, и немногочисленные видеозаписи, которые папа делал, если удавалось на день-два выпросить на работе камеру, пестреют лицами, которые я помню только по этим фильмам.

Одним из наших любимых развлечений были «концерты», которые мы устраивали для взрослых после таких походов. В ход шли выученные в детском саду или школе стишки, песенки, танцевальные импровизации, гимнастические номера, а также сольные и массовые выступления неидентифицируемых жанров. Нашим с Катей коронным номером был казахский национальный танец, изображающий плетение кос, – мы складывали ладони ковшиком и ходили под музыку по кругу, выворачивая кисти. Все это есть в папиных «фильмах» на старых видеокассетах; как-то во время ремонта мы с мамой наткнулись на «семейный видеоархив» в так и не распечатанных после переезда в Германию коробках – и смотрели не отрываясь, ощущая, возможно, отчетливо как никогда, что мы поменяли не только страну, но и мир, в котором жили, – хотя, наверное, это произошло со всеми. Это чувство странным образом и сблизило, и отдалило нас, пока мы неловко складывали кассеты обратно в ящик. Жаль, что со временем пленки почти стерлись и теперь их даже не оцифруешь – приходится жить в том мире по памяти. Сцена, на которой мы плели косы не в такт, провалилась, и не будь тут давно не крашенного кирпичного павильончика, изображавшего юрту, я бы и не вспомнила детские места. Эту часть парка совсем забросили, и желтые, красные и синие скамейки в амфитеатре все были переломаны, дорожки между ними заросли травой. В павильоне мы когда-то переодевались между номерами и прятали от зрителей сверхсекретный реквизит – но сейчас я даже не рискнула к нему подойти. Земля под ногами дрожала от низких битов, и на другом конце площадки DJ SUPERMARIO, Миша, который ходил к тому же репетитору по английскому, что и я, то и дело приглушал музыку, чтобы послушать крики толпы.

«Феерия», – подумала я. Может, это была самая крутая пати, на которой я вообще бывала в жизни. Хотя бы потому, что все пришли сюда ради меня и забыли об этом достаточно быстро, чтобы не портить тусовочное настроение. Хорошо было забыть, что со мной здесь прощаются, и под лихорадочным мельканием стробоскопов и лазеров ощущения и настроение были просто космические. Прошло минут тридцать с тех пор, как я сбежала с танцпола, но в плотной толпе

никто не мог этого заметить. Школьные друзья в левом дальнем углу площадки вполне могли думать, что я пошла переброситься парой фраз с клубными ребятами справа от них. Братья и сестры держались немного особняком, отвыкнув – или не привыкнув – в нашем тесном берлинском гетто к тому, что не все обязательно знакомы со всеми. За вспышками слепящего света на танцполе мои гости не могли разглядеть ничего, и хотя я была в каких-нибудь пятнадцати-двадцати метрах от всех, плотная темнота неосвещенных углов надежно защищала мое одиночество. Моя теннисная команда позабыла обо всем на свете, и о завтрашней плановой тренировке, выскользнув на пару часов из обычного жесткого графика. А у меня уже не было завтрашней тренировки, у меня была моя большая прощальная вечеринка.

Если долго-долго смотреть на звезду, начинает казаться, что она движется. А если отвести взгляд – все точки на небе снова застывают. Я лежала на земле, подложив под голову куртку, и смотрела, смотрела, смотрела – как сначала кажется, что всё в движении, а потом – что движения нет. Как под гипнотическим взглядом звезды начинают ходить по кругу – а стоит отвести взгляд, и понимаешь, что этого не было. А потом меня нашел Алыш.

– Эй, че не танцуем? – спросил он, присаживаясь на землю рядом со мной. – Твоя же вечеринка!

– Вообще моя, – выставила я руку, изображая хватающее движение из клипа к песне какого-то популярного рэпера, которую крутили на всех каналах, радиостанциях и магнитолах маршруток, выкручивали на полную громкость в одиноких машинах, фланирующих по вечерам на улице Ленина, и страстно любили во всех без исключения ларьках с шаурмой, что только можно было найти в Караганде.

– Не грустно тебе уезжать? Или, наоборот, хочешь в Германию? Там, наверное, круто. Движняк постоянный, полно клубов, и вообще все по-другому.

– Не знаю, Алыш, мне и тут было неплохо. У них все по-другому, у нас все по-другому – какая разница…

– Да ну, брось, Караганда, – он развел руками, – пошли лучше, зажжешь напоследок, ща я сгоню этого электронщика попсового с вертушек!

Через четыре дня, во вторник, пришла пора менять место, время и жизнь, и я обнаружила, что за два месяца непрерывных прощаний так нарепетировалась, что не смогла отличить генеральный прогон от самого спектакля. Как будто я уже вышла из этого мира, став одновременно и родным, и чужим элементом, и поэтому все потеряло значение и остроту. В понедельник вечером в дверь неожиданно позвонил Денисов – «поговорить напоследок» и попрощаться со мной. Концепт был для меня новым, но от удивления я не стала разбираться в мотивировке этого действия и предполагаемой в нем конфигурации актеров и просто спустилась к калитке. Говорить было совершенно не о чем. Саша – так звали Денисова – был в настоящем и немного в том прошлом, где мы каждый день сидели рядом в столовой. Я жила будущим, которого пока даже не представляла. Минут через десять все остатки общего прошлого были исчерпаны, и продолжительная пауза подсказала, что пришла пора прощаться. Он как-то неловко поцеловал меня, впервые за все наши не-отношения, – хотя я долго отказывалась признавать, что это был поцелуй, и вносить это событие в свой тайный, как и у всех подруг, дневник. По моему мнению, Денисов просто обнял меня и прикоснулся своими губами к моим, что полностью исчерпывало суть произошедшего.

Несмотря на мамины возражения, я взяла с собой в Германию серьезную коллекцию музыки – после новостей о переезде Алыш посоветовал мне перейти с винила на CD, и я срочно занялась составлением своей подборки. Диски были легче и меньше, на них можно было увезти больше звука, и даже пару готовых сетов – на какой-нибудь фантастический, непредвиденный случай, если Эльвира ошибается и я смогу попасть в клуб, если она опять ошибается и мне предложат поиграть, позовут куда-нибудь, а я, например, буду не готова или стану нервничать, что потеряла легкость и надо снова набивать руку, не так сразу, – что-нибудь в этом роде. Но

когда я в Германии впервые вытащила диски из чемодана – уже после концлагеря, после хайма, после всех унизительных расспросов и приговоров, – я поняла, что специальный чемоданчик с дисками смехотворен в новой жалкой жизни. Не только потому, что для музыки не было ни времени, ни возможности. А потому что, вырванные из привычного контекста, все эти диски и сам образ жизни, который был в них запечатлен, стали абсурдными за пределами мира, где я собирала эту коллекцию, тщательно подгоняя первый трек с диска «А» к первому треку с диска «В», второй ко второму, чтобы легче было сводить, и так далее. Теперь все это можно было отнести вниз, в подвал, с грудой таких же бывших важных вещей. Наступил конец моей клубной жизни, а вместе с ней исчез и тот мир, где время шло, но ничего никогда не менялось. Так эта часть прошлого исчезла из моего настоящего, как будто ее отломали, раз и навсегда.

Глава третья, в которой я долго разговариваю с кем-то незнакомым, рассказывая то, о чем говорить вовсе не следует

– «Святая анорексия», вы говорите? Очень интересно, а по-латыни это будет…

И внезапно я просыпаюсь.

Принято считать, что начинать рассказ с прямой речи нельзя: моветон. Но что делать, если совершенно бесповоротно все что было до этого – бесконечная пелена событий, слившихся в мутное облако в голове, и вдруг кем-то брошенная случайная фраза резко ударяет по тебе, заставляя вынырнуть из этой пелены и остро почувствовать, что момент, когда ты услышал обращенный к тебе вопрос, отмечает переход из одного состояния в другое, от сна к болезненному и мучительному пониманию того, что ты и вправду существуешь, несешь ответственность за то, что случилось с тобой, и все, что происходит, – происходит на самом деле? И тогда прямая речь, открывающая текст одновременно с твоим сознанием, звучит подобно выстрелу из пистолета, возвращающему к самому себе.

– Нет, честное слово, сначала я принимала аддерол из-за синдрома дефицита внимания, прямо по рецепту, мне его прописали. Но к нему постепенно привыкаешь, мне стало не хватать, а потом я уехала, ну а в Америке повысили дозу и… СДВГ сейчас диагностируют у каждого пятого, если не чаще. Конечно, я за собой этого не замечала. Ну, это ведь даже не болезнь, я вас умоляю. Вот вы замечаете, как я подхватываю ваши фразы и договариваю вместо вас? Нет, правда, именно так и делаю, последите за собой. В смысле за собой и за мной. Да, оказывается, это не совсем правильно. Но все-таки это *социально сконструированная болезнь,* ее нет, это все колебания в пределах нормы, кривая Белла. Но аддерол… Знаете сколько студентов мечтают о неограниченном доступе к аддеролу или риталину? Нет. Нет… Извините. Нет… И теперь умножьте на два. Ну, приблизительно. Абсолютно серьезно, читала на днях исследование об этом. Ну и, как вы сами понимаете, – через тридцать минут я уже расписывалась в аптеке. 120 таблеток, четыре в день. Две я приняла сразу же, там, у питьевого фонтанчика, – поняла, почему о нем столько говорят, еще до того, как доехала домой, – а это, к слову, двадцать минут. Нет, вы не представляете даже. Совсем непохоже.

Как бы это описать… Острое чувство наслаждения собственным умом. Желание предпринять что-нибудь прямо сейчас, да что там, не только желание – силы, энергия, понимаете, по-настоящему. Это просто блаженство. Аддерол, кстати, выдают только по паспорту, сверяя фотографию. Интересно, если сравнить фотографии тех, кто принимает стимуляторы, что там будет – безумный, голодный взгляд непременного победителя? О, я рвала в клочья контрольные и тесты, спала в библиотеке, повторяла про себя спряжение французских глаголов параллельно другому разговору, например, когда болтаешь с подругами в столовой во время обеда. Потом – это было очень смешно – в колледже стали думать, что я никогда не сплю, – я просто посылала письма в три часа ночи, в пять утра, в восемь, и сначала все понимали, что это шутка, но потом приходит новый поток, новые люди, ротация студентов, постепенно коллектив обнов-

ляется, и вот следующий поток, те уже на самом деле стали верить, и я даже не знала, смеяться ли над этим или переубеждать их по одному. Нет, конечно, я спала, вы не подумайте, просто спала в те часы, когда общежитие стояло пустое. У нас комнаты убирали раз в неделю, но я постоянно вешала на дверь табличку с просьбой не беспокоить и убиралась сама, по ночам, вообще все по ночам. Сон где-то с девяти утра до часу дня; занятия в основном начинались около двух… А по вечерам, обычно часов около двенадцати, я ходила по городу и курила – непрерывно, пока были силы. Я очень стеснялась, что курю, если честно, ну вот поэтому выбирала самые безлюдные дороги – чаще всего обходила весь город по периметру, а бывало, и два раза, зажигая одну сигарету за другой, пока не заканчивалась пачка. Почему курила? Нет, это долгая история, просто справлялась с собой, не очень успешно, совсем неуспешно, да, romance, но это будет в другой главе, а мы с вами говорили о…

Да, это правда. Не хочется есть вообще. Можно не есть часами, до обморока, да, было несколько раз. Я просто стала всем рассказывать про анемию, про недостаток железа. Конечно, на алкоголь списать было бы проще, но это то же, что и с сигаретами, тайная слабость, не хочу, чтобы кто-то знал. Слушайте, так время бежит незаметно – уже рассветает… Анорексия. Как бы вам описать. Постоянное, неутолимое чувство голода, к которому так привыкаешь, что перестаешь его замечать. Как только сходишь с таблеток, моментально звереешь, просто с ума сходишь. Голод управляет тобой, на бессознательном уровне, каждую секунду – поступки, которых иначе бы никогда не совершил, слова, которые бы ни за что не сказал, но это будь у тебя возможность хоть на мгновение, на одно-единственное мгновение перестать думать об этом, понимаете? Нет, не понимаете, я вижу. Но это невозможно как-то передать… Как бы вам объяснить… Вы были когда-нибудь в Дрездене, в галерее Старых Мастеров? Конечно, были; а помните картину Хосе де Риберы? Святая Инесса? Подождите, здесь же есть вайфай, сейчас найду… Вот, посмотрите на выражение ее лица, видите? Обратите внимание на кисти рук, да-да, я именно об этом говорю. Она такая прозрачная, как будто в одно мгновение может растаять… Есть очень интересная статья об этом, но не могу сейчас вспомнить название… Кажется, сам сборник называется «Фуко и феминизм»… или «Феминизм и психоанализ», они у меня на полке рядом стояли, поэтому не могу точно вспомнить, какой именно. Да, верно, но вы сейчас говорите скорее об антропологических факторах. Суть этого феномена как раз в *необходимости постоянного поддержания challenge как своего рода оси самоидентификации*… А со святой Инессой, конечно, уже совсем другой вопрос… Нет, об этом на самом деле очень мало писали, но можно, например, у Белла посмотреть – кажется, так и называется, «Святая анорексия», можно просто проверить по латинскому названию…

– «Святая анорексия», вы говорите? Очень интересно, а по-латыни это будет… – и, выделяя интонационно паузу, в которую я должна вклиниться с подсказкой, он смотрит на меня, приподнимает бровь, слегка кивает, подсказывая: ваша реплика, не тормозите сценарий.

– Извините, вы не могли бы повторить, пожалуйста? – очнувшись, прошу я, чтобы выиграть секунду времени и потому что я правда не расслышала.

– Да-да, вы хотели мне продиктовать латинское название.

– Латинское название?

– Ну да, для особого типа анорексии…

– Ах, да, anorexia mirabilis, я что-то вдруг задумалась и совершенно выпала из реальности, простите, пожалуйста, – расслабленно и звонко отвечаю, полуулыбнувшись в конце фразы, ах, с кем не бывает, правда, и параллельно напряженно изучаю человека, с которым я разговариваю, похоже, уже не первый час.

Вы знаете, как это неприятно, когда в голове ни с того ни с сего щелкает, будто спадает туман, и ты понимаешь, что совсем, совсем не понимаешь, что происходит и что происходило последние несколько часов. Они исчезли из твоей памяти, как будто кто-то прошелся по ней

ластиком. Отдельные моменты могут мелькать краткими искрами – вот ты стоишь у окна и ищешь точки, где Чарльз сливается с озером, а озеро – с небом. Вот ты спускаешься по лестнице, замечая, что все рассматривают тебя с удивлением; кажется, это из-за того, что ты идешь через гостиничный холл босиком, и действительно, вот девушка с геометричным каре при виде тебя зябко кутается в свитер; а вон тот дедушка забеспокоился и вглядывается в твое лицо – ой, спасибо, сэр, не стоит волноваться, у меня всё в полном порядке, просто, знаете, смена часовых поясов сильно сказывается, видите, уже даже виски пробую в качестве снотворного, – потому что это один из таких старичков, которым это покажется остроумной шуткой. Спасибо, спасибо, а у меня как раз тоже есть знакомый, который любит «Чивас». Пожалуй, так и сделаю! Еще раз спасибо, да, хорошего вам отдыха.

И потом уже все сливается, кроме ощущения холода, и вдруг, вынырнув из этой полосы, я понимаю, что все еще сижу в лобби-баре, действительно босиком, рваные джинсы и свитер наизнанку, на шее кольцами накручен шарф. Карлоу был бы вне себя, но я хотя бы не разболтаю ничего лишнего: в затылочную долю уже давно вживлен нейрофиксатор, и я надежна и безмолвна как камень.

Но все-таки – как неприятно. Очень неприятно. Типичная антероградная амнезия, случается с теми, кто подсел или перебирает с бензодиазепином. Принимаешь таблетку или две-три, ждешь, пока подействует, но сон нейдет. Отчаявшись, решаешь заняться чем-то другим. А потом все заволакивает туманом, и когда очнешься, оказывается, что прошло уже несколько часов, а ты не помнишь, что делал и говорил в это время. Я же зарекалась, зарекалась выходить из номера и вообще заговаривать хоть с кем-нибудь. Что произошло? Молниеносно каталогизируя в памяти воспоминания обо всех подобных эпизодах за последний год, сопоставляю их, чтобы лучше представить себе *динамику привыкания и очертить возможные траектории и негативные тенденции.*

В первый раз, конечно, само включение-отключение сознания пугает – а вы бы как отреагировали? Но в двадцать первый я уже не удивляюсь, а просчитываю возможные действия. Самое главное сейчас – аварийный выход, переключение ситуации. (И заставляю себя отключиться от размышлений о том, какой вектор вырисовывается из череды подобных эпизодов. Так, не сейчас, сейчас главное – собеседник.)

– Ой, – я резко смотрю на часы, – извините, по-моему, я вас заговорила, а мне уже пора, да и вам, наверное, тоже. Мне до восьми утра нужно провести скайп-конференцию с коллегами, завтра презентация нашего проекта, но, к сожалению, часть рабочей группы не смогла приехать. Анорексия мирабилис, запомнили?

За долю секунды между моим щебетанием и его ответом я окончательно прочерчиваю в уме этот вектор и понимаю, что промежутки между эпизодами сократились в два с половиной раза, а продолжительность пробелов в памяти, возможно, удлинилась, вероятность – процентов тридцать, для точности нужно восстановить в памяти каждый случай отдельно. Бензодиазепины. Сколько я на них – года четыре или пять? Что я помню о препарате? Побочные эффекты – достоверной информации, кажется, пока нет – когнитивные расстройства, IQ, психоз, зрительная память.

Собеседник хотел было возразить, но я, широко улыбаясь, протянула ему для рукопожатия руку, которую он безвольно принял. Минус балл. Отступив на шаг и продолжая улыбаться, подытожила:

– Очень приятно было поговорить! Надеюсь, еще увидимся. Хотя на таких конференциях никогда не знаешь… В любом случае рада была познакомиться, – и, не дожидаясь ответа, развернулась и быстрым шагом очень, очень занятого аспиранта прошла к лифту.

В такой ситуации это проще всего. Никаких объяснений, никакой неловкости. И *существует статистическая вероятность* того, что в следующий раз, столкнувшись со мной лицом к лицу, он меня не вспомнит. Ведь у людей чаще всего плохая память на лица. Больше

всего меня встревожило даже не то, что я наверняка рассказала много лишнего, пусть даже не о проекте, а о самой себе, а то, что из-за этой внезапной потери контроля над собой, неожиданной слабости, моя «вторая кожа», то невозмутимое, сдержанное спокойствие, которому я так долго училась, дало трещину, и бесконечный мысленный хаос, которого я так успешно избегала в последнее время, грозит затопить мое сознание снова. Ну а кому это вообще интересно? Проект в любом случае под защитой, остальное неважно.

Двадцать третий этаж, пожалуйста. Да, спасибо большое. Нарушение механизма перемещения в долговременную память. Двери лифта закрываются, и на секунду я снова засыпаю и просыпаюсь.

Я врываюсь в свой номер в семь часов ноль-ноль минут – ровно в то время, когда я каждое утро начинаю завоевывать мир. Будильник уже разрывается от мелодии*, разработанной по инновационной методике с учетом новейших эмпирических данных о процессах когнитивного обмена и взаимодействия психики*… ну, проще говоря, жуткой мелодии, которую специально для меня написали приглашенные к нам в лабораторию два сумасшедших нейропрофессора из Индианы. Механизм соединен с моим браслетом Jawbone Professional Edition, что *позволяет синхронизировать биоритмы, время пробуждения и подходящую мелодию;* она будет играть еще тридцать-сорок минут, *вызывая мобилизацию нейронов и постепенно перенастраивая биоритмы мозга на заданную частоту*. Будильник также соединен с устройством отслеживания у дежурной медсестры, которая получает *сигнал об активации устройства и приблизительный прогноз по продолжительности синхронизации*. Таким образом медсестра узнаёт, в какое время ей нужно быть у меня для проведения медосмотра, и корректирует дневной план работы с остальной командой – быстро, эффективно, и ни одной напрасно потраченной минуты. Прекрасно со всех сторон, если не считать, что я, как правило, пребываю в неведении относительно того, чего и когда именно мне ждать, потому что у меня единственной отсутствует доступ к этой информации. Причина такой информационной блокировки вполне очевидна: желание избежать эффекта плацебо, ведь если я буду *своевременно получать всю статистику*, то, *учитывая склонность человеческого мозга к вычислению закономерностей,* в моем случае еще многократно умноженную, я могу начать подсознательно искать связь между показателями, своим самочувствием, занятиями и исследованиями, которые выполняются в этот день, – а значит, потерять объективность и подбивать объективные факты о своем самочувствии, например, под существующую только в моей голове схему – и в результате поставить под угрозу точность всего эксперимента. А когда речь идет о таких тонких и совсем не тонких материях, как возможность программировать мозг человека, и еще о десятках миллионов долларов, – точность весьма желательна. Боже, я уже просто не могу избавиться от этого языка. Пожалуйста, дай мне снова возможность и силы говорить короткими фразами. Рывками снимаю джинсы, шарф, свитер, распускаю волосы и ложусь в кровать, продолжая прокручивать в голове отрывки воспоминаний о ночном разговоре, пытаясь восстановить хотя бы общее направление и круг тем… Будильник тем временем *создает энергетическое поле, раздражая звуковые рецепторы с целью спровоцировать определенную реакцию нервной системы.*

Через десять минут в комнате появляется Лариса, и настроение у меня сразу улучшается: Ларису я обожаю. Во-первых, она такая русская эмигрантка, что даже самые нетронутые массовой культурой, чистые и непредвзятые иностранцы сразу распознают в ней советскую женщину. Челка перышками, бесконечные цветастые кофточки, голубые тени до бровей и каблуки-рюмочки (со свойственной ей бережливостью и практичностью Лариса хвастается тем, что купила их в восемьдесят шестом году в обувном на бульваре Мира за 29 рублей – и до сих пор как новые) – все это такое узнаваемое и родное, что время от времени мне хочется обнять ее, вжаться в ее мужественные, фактурные и немного расплывшиеся плечи, уткнуться носом в плечо и на секундочку сделать вид, что сейчас мама решит все проблемы.

Из всех задействованных в эксперименте работников Лариса чуть ли не единственная, кто относится ко мне как к полноценному человеку, хотя я не могу сказать с уверенностью, оттого ли это, что я – русская девочка, потенциально годящаяся по возрасту ей в дочери, оттого ли, что она добра по своей природе, или оттого, что не совсем понимает, да и не особенно старается, суть нашей работы, моей работы и своей работы. В любом случае, едва войдя в комнату, Лариса начинает говорить, сопровождая меня историями из жизни и из газет всю свою смену; периодически приносит мне пирожки с картошкой и своими постоянными красноречивыми жалобами на то, как я мало ем и плохо выгляжу, обеспечивает мне легитимную возможность взять пятиминутный перерыв и спокойно поесть. А еще на нее всегда можно рассчитывать: малейший невербальный знак – и Лариса присаживается рядом на диван, смотрит мне в лицо не отрываясь, пока я говорю, кивает головой, участливо предлагает варианты действий и всевозможные психологические интерпретации и на голубом глазу ругает вместе со мной Карлоу, вторую медсестру Джессику, первого ассистента Джордана и всех остальных, на кого она работает, не утруждая себя мучительной оценкой своей профессиональной этики; в этот момент, пусть даже не намного дольше, Лариса считает, что наша с ней связь как «двух самостоятельных сильных женщин-эмигранток с нелегкой судьбой», а возможно, также и высшим образованием и длинными ногами, гораздо сильнее и важнее, чем ее или моя подотчетность Карлоу и судьба нейроконфликтного программирования. И не то чтобы завтра, или даже через пять минут, это ощущение не испарялось; даже в тот момент, когда оно острее всего, я знаю, что его на самом деле нет. В принципе, я и так все знаю, и в советах необходимости нет. Все, что мне нужно, – это чтобы в тот самый момент кто-нибудь меня выслушал, кивая головой. А на остальное у меня сил хватит.

Лариса постоянно делает мне поблажки. Если бы не она, я бы давно вылетела из института, растеряла всех друзей и не смогла бы избежать родительского огорчения.

Но самое главное – это то, что Лариса регулярно дает мне краткую возможность побыть самой собой, а не объектом эксперимента. И это та малость, которая делает видимой грань между сумасшествием и сумасшедшей жизнью. Потому что иногда мне кажется, что видимой черты нет – и что я, споткнувшись, потеряла равновесие, сорвалась и лечу в пропасть.

По правде говоря, я не знаю, делает ли Лариса так из симпатии или от легкой небрежности, – но другие медсестры поддерживают видимость непрерывного и крайне активного присутствия в моей жизни, постоянно переходя грань между внимательностью и назойливостью; и я всегда помню, что при малейшем простое секундомера у меня сразу зазвонит телефон или в комнате объявится деловитая женщина бесцеремонного поведения. Лариса же, будучи занятой своими делами, в числе которых, как правило, числятся телефон и ее «новый мужчина», упрямо отвечает координатору, что у нас все в порядке и еще пять минут. И это становится смехотворно важным и ценным для меня в ситуации, когда мое время регламентируется по минутам и абсолютно никому не кажется неправильным давать мне выбор между едой и сном, сном и учебой, десятью страницами книги перед сном или чашкой кофе в перерыве между двумя сессиями томографа. Каждое движение минутной стрелки стоит тысячи долларов и делает меня все более и более дорогим продуктом; и проще превратить жизнь десяти человек в ад вечного хронометража, чем раздвинуть эти рамки. И вдруг посреди всего этого Лариса, полевой цветок беспечности и безыскусности, может полчаса листать последний выпуск *People* и не думать о том, что ей тоже платят зарплату.

– По-моему, все-таки полнят немного, заразы такие, – говорит Лариса вместо приветствия, рассматривая себя в зеркало со всех сторон. – Новые джинсы, как тебе?

– А по-моему, ничего, хорошо сидят.

Но Лариса, уже переключившись на режим работы, стремительно летит вперед.

– Выспалась? Таблетки приняла? Что у нас с давлением? Надо померить. Какой идиот придумал эти долбаные графики, – ворчит Лариса, быстро передвигаясь по комнате, рассмат-

ривая гостиничные безделушки, проверяя мои витамины, закатывая мне рукава, выглядывая из окна и читая сообщение на телефоне.

– Вообще не очень, только не говорите, ладно?

– Не говорите так не говорите, – отвечает она, размашисто заполняя графу в таблице. – И что, опять не ела? Блин, девочка моя, а вот так вот уже нельзя. Смотри, сейчас разворачиваешься на сто восемьдесят градусов и мигом дуешь в столовку, поняла меня? У нас еще есть полчаса, потом поедем.

И так она то ли отправляет меня завтракать, то ли с ловкостью опытной медсестры, умеющей подсластить пилюлю и заговорить зубы пациенту, продолжает незаметно прокладывать себе и мне дорогу к завершению эксперимента, даже не замечая, с какой легкостью ей дается все то, что другие медсестры годами отрабатывают на курсах по коммуникациям с пациентом.

Лариса говорит без умолку – когда сидит рядом со мной на заднем сиденье микроавтобуса; когда заполняет документы в общественной больнице штата Иллинойс; когда деловито подкладывает мне под руку одеяло, перетягивает резинкой повыше локтя и прокалывает вену; когда вместо шприца, рассказывая мне, как ей нравятся мои сережки, вставляет мне в вену тонкий резиновый катетер и наполняет кровью первые шесть пробирок. К томографу, впрочем, ее уже не подпускают. Там другая медсестра, Кристина, укладывает меня на передвижную полку, закрепляет упоры для висков, чтобы я не могла сдвинуть голову во время сеанса, наклеивает мне на лоб капсулу для фокусировки и вкладывает в левую руку звонок аварийного вызова, а в правую – прибор с тремя кнопками, которыми я буду работать во время сканирования. Наконец, Кристина накрывает меня одеялом и поверх, по моей просьбе, еще одним – в кабинете МРТ всегда, всегда очень холодно. Я закрываю глаза, включается красный свет, полка начинает подниматься и медленно заезжает в трубу томографа. Теперь в течение сорока минут мне будут показывать картинки, цитаты, задачи, формулы, куски текстов на разных языках, и я должна буду нажимать одну из трех кнопок в зависимости от того, знаком ли мне этот слайд и знаю ли я, как его перевести или решить. Через сорок минут сканер остановят, меня откроют и переведут в соседнюю комнату, где уже будет ждать Лариса с новыми шестью пробирками наготове.

Второй сеанс всегда дается мне сложнее – он рассчитан на эмоциональный интеллект, на выдержку и самоконтроль, а вот с этим у меня бывают сбои. Когда Карлоу распорядился показать мне записи из Гуантанамо, я настолько вышла из себя, как будто в один момент в голове что-то отключилось, – резко нажала кнопку экстренного вызова, встревоженные медсестры моментально всё отключили и прибежали меня спасать, а я показывала знаками, что надо срочно все с меня снять, отцепить все эти проводки и присоски; а потом не дождалась, сорвала все сама, спрыгнула с полки и прямо как была, в больничной пижаме, направилась в кабинет Карлоу. Не совсем точно помню *выбранную мною стратегию ведения переговоров*, но ходят слухи, что я очень, очень громко кричала, то и дело повторяя «аморально» и «вы что, совсем с ума сошли». За исключением этого, впрочем, суть моих высказываний так и осталась загадкой. Сеанс с хрониками Гуантанамо пришлось повторить. А с Карлоу месяца два, наверное, у нас длилось пассивно-агрессивное противостояние, вылившееся потом еще в один конфликт с последующим примирением.

Случай с Гуантанамо, пожалуй, был самым запоминающимся и не совсем рядовым. И факт в том, что эта часть эксперимента потребовала гораздо больше времени и работы, чем изначально планировалось. Даже сейчас Карлоу был сильно недоволен прогрессом. В теории нейропрограммирование должно было *понизить мою эмоциональную восприимчивость и повысить интеллектуальную.* Таким образом, вместо *персонализации увиденного* я должна была *переходить к макровосприятию: моментальное генерирование типических моделей и прецедентов, оценка воспроизводимой ситуации и параллельное многоаспектное прогнозирование.* И хотя я делала второе, *степень эмоционального реагирования не снижалась.* В конце концов

Карлоу принял решение *модифицировать критерии и ожидания на данном этапе, сосредоточившись на выполнении интеллектуальных установок,* и пересмотреть результаты над этим сектором позже, на второй стадии работы.

Сегодня мне показывали видеозаписи о русских эмигрантах в Германии – в основном потому, что Карлоу считает это моим больным вопросом. Судя по всему, прорабатывались сентиментальная тематика, комплекс, связанный с ностальгией, разлукой, тоской и архетипами, на которых он базируется. Вот сейчас, например, экран показывал двух худеньких маленьких женщин лет шестидесяти, одетых очень похоже: юбки до колена, блузочки, почти одинаковые черные пальто, одна в шляпке, а другая – в газовом шарфике, они напоминали библиотекарш или служительниц музея, тех самых, которых так часто можно увидеть в консерватории или в Большом, обсуждающих в антракте, прохаживаясь под руку по коридорам, что в восемьдесят восьмом та актриса сыграла Раневскую гораздо лучше. Приблизительно девяносто пятый год (судя по одежде), скорее всего, сестры, выросли в Москве, владеют только русским языком. Камера преследовала их по пятам, показывая, как они пытаются снять с поезда огромный чемодан, в который, как можно было предположить *методом визуальных исключений* из флешбэков, был заботливо уложен семейный хрусталь. Хроника дошла до лагеря переселенцев, и ситуация развивалась вполне предсказуемо: одна из старушек была отправлена «пуцать» в супермаркет, а вторая жаловалась на то, что она кандидат исторических наук, а наверняка отправится туда же. Закадровый голос, конечно же, объяснял, что эмигрантка проходит адаптационный период и следующие два месяца определят, какой степени бериевской аккультурации можно будет ожидать. Я поставила на вторую в надежде на наиболее благополучное стечение обстоятельств. Потому что в таких ситуациях, знаю по себе, только и надеешься на что-то непредвиденное и немного деус экс махина. Наверное, через тридцать минут Карлоу получит по почте готовые результаты сканирования и позвонит, чтобы отчитать меня по телефону.

Сеанс заканчивается, и поскольку мы задержались на шесть, у нас остается четыре минуты на то, чтобы я переоделась, и десять минут на то, чтобы маленькими глотками, сидя за столом, не торопясь, выпить витаминный коктейль с протеином. Ровно через четырнадцать минут водитель тронется с места, чтобы в тринадцать тридцать мы вошли в Гроссмановский институт неврологии, квантитативной биологии и изучения поведения человека.

Лариса садится на диванчик в приемной, а я задергиваю шторку в раздевалке, сажусь на пол и достаю айфон и тоненькую плитку бельгийского шоколада. Это мой последний шанс съесть эту шоколадку хотя бы за шесть часов до вечернего анализа крови. С градом опечаток я рывками строчу сообщения маме, сестре и Саре: «У меня все хорошо». Все волнуются перед завтрашним днем, но стараются не показывать, чтобы волнение не передалось мне. Даже Карлоу ведет себя более-менее прилично и то и дело говорит «пожалуйста». Пяти минут обычно хватает на коротенькое, кривое, но все-таки письмо, еще пять – и я выхожу из раздевалки – одетая, зашнурованная, собранная и готовая работать. Лариса спокойно поднимается с дивана, проходит по коридору за одну из стеклянных дверей, возвращается с пластиковым стаканом-тумблером и впихивает мне его в руку.

– Идем?

Еле сдержав улыбку, я шагаю за ней по коридору. Водитель, увидев нас, открывает дверь машины, но его взгляд упирается в коктейль у меня в руках, и я вижу, как этот гладкий лоб разрезает морщина, а в глазах загораются красным световые сигналы тревоги. Потому что все здесь проинструктированы, что, как и когда нужно делать.

– Так, о чем думаем, молодой человек? Поехали, мой друг, ты что, – не давая ему вставить и слова, тараторит Лариса. – Мы же опаздываем!

Она садится на переднее сиденье рядом с водителем, а я сзади, одна, пью свой вполне неплохой коктейль и набираю, теперь уже спокойнее, еще одно письмо.

Часть 2
Современные концентрационные лагеря для эмигрантов в Германии, или Как закалялась советская сталь в Оксфорде

Глава четвертая, в которой я вспоминаю, как живется русским эмигрантам в Германии, и объясняю, как в молодых людях зарождается моя ненависть

Подобно старушке из сегодняшнего фильма про эмигрантов, я тоже когда-то исправно поднималась в шесть утра и отправлялась на социальные работы. Натянув кепку по самые мочки ушей, я сажала цветы, рвала сорняки и окапывала клумбы на главной площади Нойберга, надеясь, что никакая машина google street view, никакие знакомые и никакой случайный турист не запечатлеют навечно меня в рабочем комбинезоне, с секатором, в брезентовых рукавицах, а самое главное – с тем выражением обреченности на лице, какое бывает у махнувших на себя рукой старых людей – мол, думайте что хотите, мне уже все равно.

Полгода назад я в шелковом платье стояла за диджейским пультом, мне было хрупких шестнадцать лет, и я застенчиво улыбалась всему миру. Потом я отнесла в подвал ставшую ненужной коллекцию дисков. А потом все случилось как-то очень быстро, как-то непонятно, что после первого приема у социального консультанта, за жалких две-три недели, кубарем скатившись с этой лестницы, я превратилась в криво накрашенного подростка с размазанной по всему лицу тушью и надписью невидимыми чернилами: «Нет будущего». Я не могла поступить в университет, потому что не окончила гимназию и не сдала выпускные экзамены; я не могла пойти в гимназию из-за разницы школьных программ, а добиться поступления на класс или даже два ниже нам не удавалось – и пока мы ждали помощи от переводчика или сразу же найденного через знакомых знакомых русского адвоката, меня отправили на социальные работы. Все затягивалось, нужны были справки, для справок – документы, для документов – переводы, оригиналы, подтверждения, выписки, бесконечные телефонные звонки, ожидание в молчаливых приемных и расспросы в серых кабинетах. Так, мне казалось, и пройдет остаток моей жизни. Мама говорила каждое утро, что это временно и так или иначе я снова попаду в школу, проучусь самое большее два года, закончу, поступлю в университет и все наладится, – но пока я ждала, все складывалось не в мою пользу: потерянные письма, задержанные документы и просто бесконечное ожидание. Стоял октябрь, ближайшим сроком хороших новостей мог быть лишь сентябрь следующего года, и то если удастся вернуться в школу, и даже это – еще два года, еще институт, еще много, много лет. Мне казалось, что если ждать так долго, то уже и не стоит ждать, потому что как отсрочить начало своей жизни на годы, смирившись с тем, что до тех пор будешь только рыхлить грядки, красить заборы и мыть полы? И никакие уговоры, что можно ходить в кружок любителей театра (при городской ратуше, каждый второй четверг в семь часов вечера, вход открыт для всех желающих), не убедят в обратном.

Вот как у меня на лице стало написано, что я знаю, что это значит – страдать и испытывать стыд за себя. Вам когда-нибудь приходилось осознавать, что отныне вы для всех окружающих – пятый сорт и этого не изменить никогда? Если так, то добро пожаловать в Германию глазами русского эмигранта. После стихийного бедствия прощальных визитов одного за другим, с надрывом, после всех родственников, когда каждый надеется, что снова увидитесь очень скоро, в душе поселяется сомнение. Никакой горечи расставания и тоски. Просто вдруг понимаешь,

что только что поставил крест на своей жизни. Если грубо променял свою неприметную, тихую историю на такую же неприметную и тихую, но при этом не твою собственную, а выпрошенную взаймы. Если не оценил свои силы и не сможешь, стиснув зубы, помнить, что ты – это ты, а не сломленный жизнью сорокалетний старик или двадцатилетняя вдова в рабочей спецовке, что начинает подметать улицы в шесть утра. И так человек погребает себя заживо, рассудив, отчасти очень здраво, что шансов больше нет. И нужно просто дотерпеть. Пока.

Таких, поставивших на себе крест, я видела тысячи. Иногда эта перемена происходила за какую-то минуту. Они входили в кабинет регистратора людьми, а выходили обломками. И каждый, кто проходил, спотыкаясь о новую жизнь, мимо меня, бросал камень в мой огород: я начинала их любить – каждого, по-русски, за страдание. И ненавидеть всех, кто надевал им эти застывшие маски.

Если задуматься, можно было с самого начала это понять. Что через пару лет обреченно осознаешь, как невелик выбор возможных стратегий выживания: равнодушие, полная трансформация или вечная злость. И что среди них – еще меньше тех, кто сохраняет самоуважение. А его так легко потерять здесь, в эмиграции.

Считается, что детям или подросткам все дается проще, ведь на их табулах раса еще много белого и можно писать новую историю без того, чтобы теснить прошлое. Но со своей дружбой народов в голове я оказалась не готовой к тому, что отныне национальность и происхождение определяют и будут определять, кто я такая. Сегодня, если вы спросите меня, кто я, мой ответ отлетит от зубов: я – поздняя переселенка. Если вам этого мало, я назову свой параграф (седьмой, конечно же, несравнимо ниже четвертого в социальной иерархии, но хорошо хоть не восьмой) и подкреплю процесс самоидентификации синенькой книжечкой, свидетельством из Фридланда. Вы спросите, чем я занимаюсь, и я скажу, что сижу на социале, крашу тротуары и надеюсь снова начать учиться. И еще я буду знать, что я – русская, что может быть хорошо или плохо, а иногда не играет никакой роли, – но категория национальности будет отныне доминировать в твоей жизни, как и у всех вокруг, сортируя людей по полочкам и задавая вашей судьбе тон.

Другое дело – родители. Для них все начинается с того, что они перестают понимать, кто они такие: ведь всю жизнь прожили в СССР с надписью «немец» в графе «национальность». И пусть они не очень-то отличались от всех вокруг, ведь плавильный котел тогда и там работал на славу, но фамилия, воспоминания о том, как бабушка да даже еще родители немножко разговаривали в семейном кругу на немецком (а бабушка до сих пор, если дойдет дело до партии в карты, вдруг перестает говорить по-русски и громит кенигом бубе, а таус бьет цейн), и вдобавок некоторые знания, пусть местами неточные и отрывочные, о том, как немцы вообще очутились по эту сторону Урала, – все это делало немцев СССР немцами. Указ Екатерины Великой. Переселенцы. Автономная Республика Немцев Поволжья. Сталин. Репрессии. Депортация. Отправка в теплушках. Зима в степи. Трудармия. Спецпоселения. Мирная счастливая жизнь. Перестройка. Девяносто первый.

И последний пункт в этом списке – репатриация – внезапно превратил их всех в беспорядочную толпу русских эмигрантов в Германии, в лучшем случае – фольксдойчев или казахдойчев.

Я помню, как все начиналось. Железный забор и белая табличка «Grenzdurchgangslager», лагерь для беженцев и переселенцев; поселение как будто мертвое – ряды пронумерованных белых домов и ни души на улице. Длинные коридоры ледяных бараков, таблички с запретами со всех сторон и клетушки комнат, набитые двухэтажными кроватями, – там-то и обнаруживаются группы людей, знакомящихся друг с другом.

Ночи, когда не можешь заснуть то ли от плача соседей, то ли от собственных мыслей и сомнений в том, нужно ли было вообще сюда приезжать. Десятки женщин, похожих на увядшие цветы, и глаза людей, стекленеющие по мере того, как они проводят здесь дни и месяцы. В

шесть утра нас будит громкоговоритель, называя фамилии и распределяя семьи по приемным. Под черным еще небом из всех бараков тоненькими струйками в столовую текут насупленные и печальные люди. А нас, как новоприбывших, к шести тридцати направляют на рентген.

Концентрационные лагеря, фильтрационные лагеря, инновационные лагеря, интеграционные лагеря… Как же мы дошли до этого? Поначалу, чтобы веселить маму, я называла его концлагерем; но и меня ненадолго хватило.

Раньше каждый переселенец, приехав в Германию, проходил первую регистрацию здесь, во Фридланде, затем будущих, как мы, баварцев отправляли в лагерь в Нюрнберге, и еще через несколько дней – окончательное распределение в отныне твой город или деревню.

Потом местные лагеря упразднили, и все учреждения по приему переселенцев переехали во Фридланд, чтобы этот лагерь *абсорбировал*, как гигантский паук, всех новоприезжих и выпускал граждан Германии. Еще позже Бавария и Нижняя Саксония спонсировали полугодичные языковые курсы во Фридланде: вероятно, их озадачила и взволновала волна переселенцев, хлынувших в Германию в девяностые; далеко не все из них, что и говорить, представлялись подходящими попутчиками на жизненном пути.

Так и появилась эта полугодичная тюрьма. За шесть месяцев пребывания здесь каждый, как ни сопротивляйся, научится говорить с продавцом в магазине и консультантом в офисе социального страхования; и что немаловажно, наряду с этим незаметно для себя «интегрируется» – это во Фридланде любимое слово, – переживет культурный шок, поборет ностальгию и адаптируется к реалиям современной высокообеспеченной и социально защищенной страны. А что, хорошо ведь в теории и очень заботливо. Жаль только, что у многих срабатывает эффект обратной петли: по мере интеграции воспоминания о собственном прошлом искажаются и сопровождаются отречением от прежней жизни. И однажды слышишь от бывшего соседа, что – ладно бы только он – и ты сам жил в аду – простите, боролся за выживание в бандитской, варварской стране. Нет, не припомню.

Сейчас поток переселенцев уже значительно поредел и лагерь стоит полупустой. Люди уже не живут по восемь человек в комнате, как раньше, а всего по трое-четверо.

Не знаю, как здесь было раньше, но шутить я продолжала недолго. Неделя-другая, когда я часами сидела на кровати, перечитывая, ввиду отсутствия каких бы то ни было альтернативных занятий, одну и ту же книгу, привезенную с собой, – и мои мысли потекли медленнее, желание вернуться к бурной энергии прошлой жизни стихло, а шутить было не над чем. В лагере не было ни библиотеки, ни интернета, никакого доступа к внешнему миру. День за днем мой информационный поток ограничивался текстами в учебниках немецкого, хождением кругами по территории лагеря и практикой молчаливого созерцания, которая, с учетом несуществующей духовной составляющей, не приносила мне ничего, кроме ощущения, что голова моя все больше и больше начинает походить на застоявшееся болото.

Не за что было держаться, кроме поглотившего меня страха, что день ото дня я таю, исчезаю и превращаюсь в другого человека. От несшихся со всех сторон запретов (преследовавших меня даже ночью, поскольку правила поведения лагеря, напоминавшие, что Фридланд – не гостиница и мы – не в гостях, светились в темноте, и моя кровать стояла как раз под ними) во мне поселилось чувство страха и постоянное ощущение, что каждый мой шаг и поступок – это ошибка, за которую могут наказать. И выходя из лагеря через шесть месяцев бесконечно долгих, бесцельных дней превращения в существо низшего уровня, я твердо понимала, что я еще и непойманный преступник, живущий взаймы в ожидании суда.

И все же, выйдя на свободу, я почувствовала, что, несмотря на все омертвение, отупление и смирение, что-то во мне выжило. Что-то внутри все это время сопротивлялось, не уступая последнего рубежа, – и, наверное, это была победа. Наверное, это был тот самый мой плохой характер. Он заменил нежность шелкового платья из хрупких шестнадцати лет, легкого и светлого, которого мне уже никогда не надеть – потому что его больше нет. Но оказалось, я

словно наращиваю другую кожу, чтобы унижение не прилипало к своей, и переплавляю весь этот страх, неуверенность и безнадежность вокруг в злость – яростную, опасную, но, самое главное, не дающую застыть.

Что это было за время, что за дни, которые резали глубже и глубже нашу любовь, привязанность, уважение. Двадцать первого марта следующего года, когда наконец все мои документы были оформлены и возвращение в школу стало реальностью, мама устроила праздничный обед; в два часа дня мы сели за стол – мама, папа, я. Идеальная семья однажды, но, возможно, больше никогда. Папа скребет ножом по тарелке, измельчая в клочья веточку цветной капусты. Мама переключает каналы и доходит до MTV. Комнату наполняют звуки попсового подросткового рока, и этот саундтрек нам сейчас совсем не подходит. Мама не успевает еще снова нажать на стрелочку, как папа сразу вскидывается:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.